

ТРОФИМОВ, Анатолий

ПОВЕСТЬ О ЛЕЙТЕНАНТЕ ПЯТНИЦКОМ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Худой и низкорослый, с тусклыми глазами помощник начальника штаба артполка в чине капитана полистал тощее личное дело Романа Пятницкого, с канцелярской тщательностью завязал тесемки и, оборотившись к окну, наполовину заложенному битым кирпичом, безучастно сказал:

— Пойдете командиром взвода управления в третий дивизион.— Помолчав какое-то время, уточнил: — В седьмую, к капитану Будиловскому.— И тут же, дьявол его знает по какой причине, взорвался. Сгорбился над папкой, едва не задевая ее мясистым носом, стал колотить по картону толстым, крючковато согнутым пальцем: — Плохо начинаете жизнь, молодой человек, не вознамерьтесь плохо кончить!—Тенорок его набирал высоту и выдал разделенную на слога фразу: — И-всег-да-пом-ни-те-за-что-рас-стре-лян-ваш-пред-шест-вен-ник! — Картон, мрачно отзываясь на удары пальца, оттенял каждый слог.

Пятницкому еще в штабе дивизии стало известно, что лейтенант Совков, на место которого прибыл, погиб от мины, расстрелян командир огневого взвода и совсем другой батареи. Дрогнул парень перед немецкими танками, не сумел сдержать их напора, не придумал и как отступить по-умному. Целехонькое, неповрежденное орудие досталось врагу. Но предшественник расстрелян или не предшественник — от этого дело не менялось, и настроение Пятницкого вконец изгадилось.

В соседней комнате занятого под штаб особняка измученный зубной болью старшина, не вникая ни в какие подробности, сказал Роману:

— Предписание за поздним временем получите...— одной рукой он придерживал вздутую щеку, другой ткнул в промятый, с высокой деревянной спинкой диван.— Я вот тут сплю. В семь ноль-ноль встать надо. Разбудите?

Пятницкий с жалостью посмотрел на перекошенную флюсом физиономию старшины, шевельнул плечом: надо так надо, можно и разбудить. Хотел было спросить, где же ему ночевать, но старшина и это предусмотрел, и нечто другое — вроде бы в компенсацию Пятницкому за все выпавшие на его долю потрясения, о которых догадывался, но о которых едва ли думал сейчас и с которыми, конечно, не связывал сказанное.

— Напротив связистки живут,— подмигивал он от мерзкой боли,— есть нары свободные... Перед сном на концерт сходите, дивизионный ансамбль припожаловал. Не пойдете — до конца войны не удастся.

Роман согласно кивнул и посоветовал:

— Водкой прополощите.

— Спать пойду — все нутро прополощу,— мрачно согласился старшина.

Ничего не оставалось делать Пятницкому, как идти на концерт. Сарай был изрядно набит служивым людом. Высмотрел местечко у стены, угнездился на щеп-ном мусоре, как и все,— ноги калачиком. Сильно исхудавший вещмешок пристроил меж колен. Хотелось есть. Пересилив неловкость, продиктованную театральной обстановкой, выудил из недр

торбочки остатки промерзлого хлеба и круто соленного, прочного, как ремень, шпика, стал жевать и с ненавистью слушать пение очень красивой артистки в диагоналевой гимнастерочке с идеально прямыми от вставленного в них дюралья погончиками с желтенькой лычкой. Пела она изумительную песню о вальсе в прифронтовом лесу и таким же изумительным голосом. Ненавидел ее Роман за то, что она изменила мужу, хористу ансамбля, и он позавчера застрелился. Эту весть преподнесли ему за так местные кумушки мужского пола в надраенных кирзачах. Может, ненавидел Роман не эту молодую женщину, а треп о ней, кумушек языкастых, но он не уточнял этого, неприязнь пришла, жила в нем — и все тут.

Ночевал, как велено, у связисток. Они спали на нарах за брезентовой занавеской, он — на таких же нарах напротив. Посредине стояла печка — четырехреберная бочка с жестяной трубой. Девчонки проявили к нему величайшее равнодушие. Только засыпая, услышал приглушенное:

— Откуда этот симпатяга?

— Мишка сказал — из штрафбата «Трепло», — равнодушно подумал Пятницкий про старшину с гнилыми зубами по имени Мишка и заснул

Все шло своим чередом, как и положено в армии, — по инстанции: из дивизии в полк, из полка — в дивизион, из дивизиона — в батарею.

Сейчас лейтенант Пятницкий шел в батарею.

— Батарея ваша прямо по реке Йодсунен. По правде сказать, не то чтобы по реке. Одна пушка там, другая сям, третья во-о-он у того пригорка, а четвертая... — Говоривший приостановился, упористо расставил ноги, поискал глазами место четвертой. Не нашел, взлягнул задом, устраивая термос половчее на широкой и крепкой спине, махнул рукой: — Четвертая черт-те где. Ну, а мы, пехота, — там, за речушкой. Теперь, лейтенант, давай скажем в ход сообщения. До передовой далековато еще, немец-то, по правде, и не углядит, до него километр с гаком, а вот... Есть такие. Цапнулся вчера с одним из охраны. Конечно, на передке постреливали, да разве сюда долетит! Ну, если и долетит какая, так ее, курву, когда на излете, можно и рукавичкой отмахнуть. А этот, из охраны который, колобок пухлощекий... Еще порошу не нюхал, а туда же...

Говорил все это сержант Пахомов. Он шел чуть впереди лейтенанта Пятницкого и ступал сапожищами по мерзлой, едва припорошенной снегом земле с равнодушной привычностью старожила войны. Познакомились они час назад в сараюшке господского двора Варшлеген, где старшина седьмой батареи Тимофей Григорьевич Горохов, немолодой полнеющий мужик, кормил Пятницкого невообразимой фронтовой роскошью — жареной картошкой и, заполняя термоса солдатским хлебом, без особой надобности переругивался с писарем и поваром. Пахомов, заглянувший к артиллеристам по старому знакомству, не только вызвался проводить вновь прибывшего лейтенанта до наблюдательного пункта батареи, но и навьючил на себя один из термосов, приготовленных Гороховым для своих пушкарей. Он сказал Горохову:

— Ты, дядька Тимофей, занимайся своим делом, а варево я доставлю и за этим, по правде сказать, разболтанным народом не хуже тебя присмотрю.

Разболтанный народ — писарь с поваром — невнятно, не для ушей Пахомова, пробрюзжали что-то.

Пахомову двадцать три года, здоровенный, пудов на шесть. О таких говорят: несгораемый шкаф с чугунными ручками. Простоват, словоохотлив, и есть в нем что-то, что трудно объяснить сразу. Побудешь с таким человеком четверть часа — и расставаться не хочется. Имело, видно, значение и то, что Игнат Пахомов знал войну, не в пример Пятницкому, давно и со всех сторон. Там, в хозотделении дядьки Тимофея, Пятницкий заметил, что орден Красного Знамени у сержанта не из новых — не на колодке, а привинчен.

Игнат Пахомов упомянул колобка пухлощекого, который порошу не нюхал, и осекся, покосился украдкой на Пятницкого. Ладно, тот лейтенант из охраны, а этот-то свой, вместе солдатскую лямку тянуть будут.

Надо бы примять неловкость, да она как-то сама примялась. Прежде чем спрыгнуть в ход сообщения, Пахомов обернулся, крикнул идущим сзади:

— Курлович, Бабьев! Марш в ход сообщения!

— Молчи, пехота, мы тебе не подчиненные,— лениво огрызнулся писарь. Он и повар Бабьев тоже несли термоса.

Пахомов выпучил глаза:

— Ноги вырву, мышь бумажная, и скажу, что так было!

Рявкнул — и вся неловкость с сержантской души спала.

Тощий и сизощекий от небритости писарь сплюнул неумеючи, подхлестнутый криком, скрылся в траншее. Туда же последовали Пахомов с Пятницким. Но скакнул, пожалуй, только Пятницкий. Пахомов, с учетом дородности, просто-напросто обрушился.

Справа и слева вилужистого хода сообщения — всхолмленная равнина, редкие колки клена и граба, исхлестанные железом, заваленные спрессованным воздухом. Все остальное — пахотная земля, размежеванная проволочной изгородью, в ряби глубоких и мелких снарядных выворотней. На озими, чуть припорошенной снегом,— военный посев: распяленные скелеты машин, горелые, растерзанные танки и самоходки, повозки вверх осями и без колес, побитые немецкие орудия, уткнувшиеся рылом в землю, скомканная дюралевая рвань самолетов, а между ними посев помельче — противогазные коробки, тряпье, продырявленные каски, смятые наискось ящики, патронные «цинки»...

Шли они на сам-ый-самый передний край войны, где грудь стоящего в окопе защищена земной твердью в километр, а голова — насыпкой бруствера, где за бруствером от ствола твоей винтовки до ствола вражеской винтовки — полоса нейтральная. Повернув голову к Пятницкому, Пахомов с неожиданной печалью в голосе сказал:

— Насчет ноги вырву — это у Кольки Ноговицина поговорка была. Нет теперь Кольки Ноговицина.

Пятницкий промолчал, опасаясь сказать не то, что надо сказать. Ведомо было Роману, отчего так тужит на войне голос солдата.

— Понимаешь, как от границы фрицев пиханули, ходко шли, а потом... Как белены объелись, сволочи, озверели. Пока контратаки отбивали, все время Кольку видел, потом, когда ротный дал сигнал на отход, потерял из виду... Раза три на «ура» поднимались. В нашем полку только у него Золотая

Звезда была. В таких случаях пишут — пропал без вести. Убит, поди. В плен он не сдастся. Иначе как тут пропасть без вести...

Сержант Пахомов примолк, прислонился термосом к стенке траншеи, ослабил давившие на ключицы лямки. Отгоняя томившее, сказал немного погодя:

— Как потеряли Кольку, места себе не нахожу. Скорей бы наступление, я еще за Кольку... Ты вот что, лейтенант... Как тебя звать-то? Не коробит, что на ты?

Было от чего коробить, неразумный! Скинул Пятницкий трехпалую рукавицу, протянул руку:

— Роман Пятницкий.— И для большего сближения добавил: — Родился в краю вечнозеленых помидоров. Из Свердловска я.

Пожимая руку, сержант поддержал расхожую шутку:

— Где фрукты — клюква, а овощ — брюква. Считай, что земляки. У нас помидоры тоже на печке в пимах доспевают. Игнат Пахомов, из Омска,— хлопнул Пятницкого по спине.— Ты вот что, Роман, не сохни на своем НП, приходи. Твои «зисы» на прямой наводке, до наступления вряд ли постреляешь, а вот из пулемета... Все равно фрицев гонять надо. Обнагтели недоноски, поверху ходят, оборону укрепляют... Может, и ты свой счет откроешь.

Счет-то, если припомнить то сумасшедшее утро, был у Пятницкого. Да что сейчас об этом говорить. Пронизанный радостью хорошего знакомства, Роман поспешил заверить:

— Приду, Игнат, обязательно.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Роман Пятницкий проснулся от кашля Будиловского. Так по утрам курильщики кашляют. Капитан, как и Пятницкий, не был курильщиком, но просыпался всегда с кашлем. Может, простыл? Или водица из проруби не впрок?

Роман поспешно сбросил ноги с топчана.

— Чего подскочил, лейтенант, спи,— сквозь кашель сказал Будиловский.

Чего уж там — спи. Не дело, чтобы командир батареи встал, а взводный — пузом кверху. Только вот встает комбат ни свет ни заря. Плохо спится что-то капитану.

Будиловский раздевался на ночь до белья, Пятницкий, еще не привыкший к быту в обороне, такой роскоши себе не позволял, отстегивал только ремень с пистолетом. Разувался и давал отдохнуть ногам только днем, когда убеждался, что на передке спокойно и неприятель не собирается тревожить командира взвода управления семидесятишестимиллиметровой батареи Романа Владимировича Пятницкого.

Романа Владимировича... Так называет его в батарее один Степан Данилович Торчмя, ординарец Будиловского — пожилой, неуклюжий разведчик. Да и не совсем так, а лишь по отчеству — Владимирыч. Впрочем, по отчеству Торчмя звал всех, начиная со взводных и кончая командиром полка. Остальные пушкари, как и положено среди военных, обращались к Пятницкому — товарищ лейтенант, а командир батареи еще проще — лейтенант.

Первые дни продувные бестии из разведотделения звали еще и детским именем — Ромчик. Заглазно, конечно. Видно, из открыток матери почерпнули, которые, как известно, может читать не только цензура. А они начинались всегда неизменным: «Милый Ромчик!»

Узкий сводчатый подвал с затухающим запахом плесени и сушеных трав освещался ужатой в горловине гильзой сорокапятки. Стиснутый в латунных лягушачьих губах фитиль пламенился тремя язычками. Крайний, оранжевый, самый длинный, заострялся удивительно белой, почти молочной струйкой, которая в свою очередь источала не менее удивительную мазутно-темную жилку. Эта черная нить лениво тянулась вверх, рвалась, расплзалась хлопьями копоты и оседала на шершавом, когда-то беленном корытообразном потолке.

— Умываться будем, товарищ капитан? — вместо ответа на «Чего подскочил?» спросил Пятницкий.

Будиловский повернулся к телефонисту. Тот примостился на ворохе соломы у входа, телефонный эбонитовый аппарат стоял на чем-то напоминавшем детский столик. Столик там или еще что, понять было трудно, поскольку застлан был настенным матерчатым ковриком с изображением рогатых зверей, прыгавших по фиолетовым скалам.

Молоденький, до глянца умытый и жизнерадостный телефонист Женя Савушкин поспешно крутанул ручку аппарата, окликнул Астру и, когда Астра ответила, бросил в трубку, подвешенную тесемкой к его маленькому розовому уху, до предела понятные слова:

— На прорубь!

Будиловский и Пятницкий знали, что после этих слов все, кто бодрствовал, станут еще бодрее, кто спал, мгновенно поднимется, кто забыл что-то сделать вчера, примется делать сию минуту. Команда Жени Савушкина ординарцу Степану Даниловичу Торчмя «На прорубь!» означала, что командир встал и сейчас вместе с новеньким лейтенантом будет обливаться до пояса обжигающе-студеной водой из речки, а потом осматривать хоть и невеликое, но довольно мудреное хозяйство батареи, затаившейся на прямой наводке.

Обливание по утрам Роман Пятницкий принял безоговорочно, сразу, как прибыл сюда «для прохождения дальнейшей службы». За первой процедурой Женя Савушкин наблюдал с восторженным ожиданием интересного: вот сейчас лейтенант стащит гимнастерку, Степан Данилович окатит его из ведра с гуляющими там льдинками, и Женя услышит девичий визг. Но ожидаемое удовольствие было испорчено с первого раза. Бугорчатые мышцы возле лопаток, каменно обкатанные бицепсы лейтенанта заставили Женю уважительно крикнуть. Степан Данилович тоже оценил эту картину: «Ничего, жилистый Владимирыч».

Горячее тело парило, Роман мычал и шоркался полотенцем.

И остальные из взвода управления, кто откуда мог, наблюдали за происходящим — и в первый, и во второй день, а потом перестали смотреть, приелось. Не смотрели и в это утро.

Во время бритья Будиловский справился у Пятницкого:

— Какие планы, лейтенант?

Вопрос приятно тронул Романа. Неразговорчивый, нелюдимый и раздражительный капитан был, похоже, из тех людей, заглянуть в душу которых не каждому дано, а с невеликим жизненным опытом и вовсе — как в замерзшее окно смотреть, ничего не видно. Если только в проталинку, да и ту еще продуть надо. Старший на батарее лейтенант Рогозин доверительно сообщил Роману, что Василий Севостьянович в общем-то не такой, это его недавно стукнуло. Письмо какое-то, сказывают, получил.

Ну, если комбат спросил о планах Пятницкого, значит, признал его старательность. Не потому ли признал, что командир дивизиона капитан Сальников вчера похвалил Романа?

Хвалить было за что. Прибыл в батарею Роман с неисправимой училищной закваской и был несказанно поражен тем, что увидел на НП. Журнал наблюдений и карточки целей, схемы ориентиров и боевого порядка, журнал фиксации действий вражеской артиллерии были в прескверном состоянии. И дежурство на наблюдательном... Если днем разведчики поглядывали, то ночью, порасслабившись в заманчивом затишье позиционной войны, бессовестно спали под стереотрубой. Все в норму привел лейтенант Пятницкий.

Вопрос Будиловского о планах мог означать только одно — свободу действий командира взвода управления.

— В пехоту, пожалуй, сметаюсь, надо ближе познакомиться, кого поддерживаем.

Капитан Будиловский перестал шуршать бритвой о щетину, приподнял белесую бровь, произнес:

— Ну-ну...

И в этом междометии слышалось одобрение. Роман даже порозовел, но не столько от приятности, сколько оттого, что приврал малость. Очень хотелось повидаться с сержантом Пахомовым. Хотя почему — приврал? Правда, в пехоту собрался, и не куда-нибудь, а во второй батальон, который поддерживает их батарея.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Река Йодсунен, что обозначена на крупномасштабной карте голубой извилинкой, и не река вовсе. Так, речушка. Но и не скажешь, что курица вброд перейдет. Перед наблюдательным пунктом батареи в ширину метров двадцати достигает. Даже мостик есть. Должно, с него свалился немецкий танк, когда наши прижимали немцев к Гумбиннену. Лобовой частью брони врезался в лед, да так крепко, что снаряды через люк высыпались и, припорошенные снежком, валялись теперь заостренными полешками.

По имени этой речки и господский двор называется — Йодсунен. Велики ли там господа, но двор ничего, сносный: кирпичный дом с мансардой, кровля из неломкой черепицы, стены перемерзшим плющом увиты, два сарая, коровник с конюшней — тоже кирпичные, под навесом сеялки-веялки всякие, исщепленные да исклеванные тихой войной в обороне.

Двор — на левом пологом берегу, а на правом, суходоле, где начинаются пашни, пехота нарыла окопы в человеческий рост. По лесным опушкам да на окраине Альт-Грюнвальде, в километре от наших траншей (а где и меньше), обосновались немецкие войска.

В мансарде господского дома, под самым коньком крыши, и утвердился НП седьмой батареи капитана Будиловского.

Артиллерийскому разведчику несложно мысленно поменяться местами с противником и посмотреть на свой наблюдательный его глазами. Посмотрел лейтенант Пятницкий и увидел: вилужистый, заросший ивняком берег речушки с русскими траншеями, а за охрянными навалами брустверов, дальше, за речкой, чуть выше уровня земли торчит черепичная крыша, поскольку сам дом, хозяйственные постройки, все подворье утонули в приречной низине.

Знал противник или не знал о существовании наблюдательного пункта под коньком крыши — трудно сказать, но увесистые снаряды и мины время от времени кидал сюда.

Пятницкий миновал двор, полюбовался на целехонький танк, который трофейные команды, надо полагать, приспособят потом к делу, и вышел к противоположному берегу. Постоял, вспоминая, каким ходом сообщения ближе в четвертую роту. Не вспомнил. На счастье, солдат откуда-то вынырнул. Пятницкий остановил его, спросил. Заспанный, с неопрятным лицом солдат просипел недружелюбно:

— А тебе кого там?

— Командира взвода Пахомова,— с укоризной сказал Пятницкий.

— А-а, сержанта нашего,— пропустил солдат мимо ушей строгость молодого офицера.— Это вон туда. Поворота через три его берлога. Близенько тут.

Отцепляя котелок и оскользаясь на спуске, солдат, едва не падая, продолжал путь к реке.

«Экий ты неразумный, взял бы левее»,— проводил его взглядом задетый равнодушием Пятницкий.

Пехота не сидела без дела: углубляла траншеи, расширяла и строила блиндажи. «Берлога» командира взвода сержанта Пахомова за минувшую неделю стала более просторной. Теперь на земляных нарах можно разместить до десятка человек.

Игнат Пахомов искренне обрадовался приходу Пятницкого.

— Ромка? Здорово! Как живешь-жуешь?

Нет, десятерым, когда Игнат Пахомов в блиндаже, на нарах не разместиться. А еще говорят — мастодонты исчезли...

— Что нового? Навел порядок на НП? — сыпал Игнат вопросами.— Пулеметчиков вот собрался проверять Хочешь со мной? Фрицев из «Дегтярева» попугаем. Далековато, по правде сказать. Саданешь очередь, они, как куры деревенские от полуторки,— кто в окоп, кто носом в землю. И не разберешь — ты свалил или просто так свалился. Одного все же угробил недавно,— посмеиваясь, рассказывал Пахомов.— Такая паскуда, слов нет. Скотина безрогая. Но, по правде, не из боязливых.

Дождлся раз, когда вылезут с лопатами,— врезал очередь на полдиска. Враз укрылись кто где, а этот на бруствере остался. Стоит, сука, в полный рост да еще по ширинке похлопывает. Аж в голове засадило... На другой день все же смахнул немчика... По правде, может, не тот это был, который свое хозяйство рукавичкой проветривал, да хрен с ним. Все равно фриц... Сейчас осторожнее стали. Нет, не из-за меня. Снайпер у нас появился.

Не снайпер — золото. Четырем уже черепки продырявил. Снайпер — глаз не отведешь. Зиночкой звать.

Посмеялись, порадовались, что есть на свете такие снайперы, и зигзагами окопа прошли до небольшого дзота. Пулеметчиком оказался тот самый солдат, которого Пятницкий встретил у реки. Сутул, хилогруд, он успел побриться, но молодцеватости от этого не приобрел. Стоял, сунув руки в залоснившиеся рукава, наушники шапки без тесемок, брезентовый ремень провис от подсумка ниже пупка.

Дзот пропах сыростью и паленой тряпкой. Пахомов поискал глазами источник смрада, сплюнул: едко чадил воткнутый в глинистую стенку туго скрученный жгут из белой ткани.

— Противогаз надел бы,— буркнул Пахомов,— помрешь ведь, Хомутов.

— Не помру,— возразил солдат,— без курева скорей сдохнешь. Старшина, жмот, вторую неделю ни единой спички.

— А кресало? Нет, что ли?

— Пошто нет, есть, так все козонки поотбивал. Отсырела, поди-ко,— объяснил Хомутов.— Была зажигалка — я ее у пленного леквизировал,— но бензин кончился, на махру променял.

Пахомов сорвал тлеющие тряпки, втоптал в земляной пол. Молча подал солдату сбренчавший коробок спичек. С такой же немотой пулеметчик принял спички, сунул их за пазуху — поближе к теплу и для большей сохранности.

Перед амбразурой лежал порошистый снег, присеянный семенем бурьяна. Упругий ветерок, набегая, перекатывал снежную россыпь, бросал ее внутрь дзота. Снежок оседал на площадке, крохотно сугробился у основания сошников «Дегтярева». Судя по всему, пулемет давно бездействовал.

— Где второй номер? — спросил Пахомов.

— А вон, покемарить прилег.

Лейтенант Пятницкий и сержант Пахомов только сейчас разглядели в полумраке съездившуюся фигуру человека. Он лежал на грязной-прегрязной перине, закутавшись в шинель с головой.

— Поднять, товарищ комвзвода? — спросил Хомутов.

— Зачем, пусть спит. Пулемет почему морозишь? Фрицев жалеешь?

— Че их жалеть... Стреляем малость, когда вылазят. А так...— солдат вяло шелохнул плечом.— Дразнить только. Зараз минами швыряться почнут. Вчерась девчонка, снайпер энтот, неподалечку устроилась. Сковырнула одного — че тут подеялось! Ваньку Бороздина ранило, глушитель у пулемета покарябало...

— Нагнали страху, значит? — выговаривал Пахомов.— То-то ты руки в рукава: я вас не чепляю, и вы меня не чепляйте. Так, что ли?

— Пошто так? Нет, не так.

— Где снайпер сегодня?

Что-то живое мелькнуло на худом, с порезами высокобленном лице пулеметчика. Он шагнул к амбразуре, выпростал руки, ткнул узловатым, плохо сгибающимся пальцем в сторону нейтральной:

— Там вон. Затемно забралась. Давеча подстрелила одного... Веселая такая, красивенькая, а людей убивает.

— Людей,— передразнил Пахомов, устраиваясь у пулемета.— Нашел тоже людей...

Пятницкий укрепил локти на площадке, подкрутил окуляры бинокля по глазам. Немецкие окопы шестикратно приблизились. Безлюдные, будто вымершие.

У солдата глаза и без бинокля хорошо видели. Разъяснил:

— Попрятались. Боятся.

— Не тебя ли? — намеренно обижая, спросил Пахомов.

Солдат хмуро засопел:

— Я же говорю — че по пустому-то... Девчонка их тут всех перепугала.

Пятницкий, пытливо шаривший биноклем по нейтральной полосе, толкнул локтем Пахомова:

— Игнат, а это что, труп, да? Ничего себе поза... Не наш ли?

— Фриц, больше некому. Своих мы всех повытаскивали.

— Н-не, не похоже на фрица,— возразил Пятницкий, разглядывая труп.— Шинель вроде наша, сапоги хромовые... Не сразу до смерти, встать еще хотел.

— Как это не фриц? — встревожился Пахомов.— Дай-ка бинокль. Чего ты мелешь, фриц это.

— Не тот, во-он правее копешки с клевером, снежком примело. Там еще столбик расщепленный. Если наш, то это же дико, Игнат. Будто врагам кланяется.

Жутко было видеть, как меняется лицо богатыря Пахомова. Долго не отрывал бинокль от глаз. Рассмотрев, убедившись в чем-то, хрипло проговорил:

— Выйдем.

В ходе сообщения, где их никто не мог услышать, сержант Пахомов сказал:

— Сдается, Колька Ноговицин... На карачках перед фашистами?! — Он сунул пятерню под шапку, ухватил волосы в горсть, скрежетнул зубами.— Как же так? Я сам ползал... Борьку Григорьева вынесли, танкиста обгоревшего вынесли, а Кольку... Как же так?

Ознобная дрожь пробежала по хребту Пятницкого от мысли, которую он тут же решительно высказал вслух:

— Давай сходим ночью, вынесем.

Игнат вскинул удивленный взгляд, задержал его на возбужденном скуластом лице Романа.

— Без командира роты тут...

— Доложим, расскажем.

— Новенький он у нас, что для него Колька... Нет, не согласится. Обгавкает и прикажет не рыпаться. Тут санкции свыше нужны.

— Санкции, санкции,— рассердился Пятницкий.— Вдвоем вынесем — вот и все санкции.

Пахомов нахохлился, расщепил плотно сжатые губы.

— Ну, ты... репей. У меня, что ли, не саднит? Колька! Герой Советского Союза — на коленях перед фрицами! Да я... Хрен со мной, пусть на пулю нарвусь... Шуму-гаму только вот наделаем. На всю дивизию.

— Вынесем — все спишут,— ту же завинчивал Пятницкий.

— Спишут-напишут, потом резолюцию ниже спины наложат,— уже просто так проговорил Пахомов.

— Нашел чего испугаться! — необдуманно задел его Пятницкий.

— Но, ты, полегче,— нахмурился Игнат.— Тут моя забота. По правде, тебе и соваться нечего. Случись что с тобой — меня в штрафную или к стенке прислонят.

— Штрафну-у-ую,— оттопыривал губу Роман.— Рано туда собрался. Все разумно сделаем.

— Так-таки — разумно? Смотри-ко на него, будто он только тем и занимался, что трупы из-под носа немцев вытаскивал.

— Трупы не вытаскивал, а живого фрица вытаскивал. Один раз, правда. Так что опыт у меня есть.

— Где это ты вытаскивал? — Пахомов недоверчиво скосил глаза.

— В штрафбате.

— Где-где? — поражение заморгал Пахомов.

— Сказал же, чего повторять-то.

— За какие такие грехи?

— Ладно, Игнат, история длинная...

Игнат сокрушенно помотал головой:

— Ну, Ромка, наделаем мы с тобой делов.

— Согласен?

— Согласен...— хмыкнул Игнат.— Я бы и один пошел... Давай-ка пошурупаем мозгами, как да что. Пулемет пристрелять надо. Я за него Баймурадова посажу вместо этого сутулого. Есть у меня туркменчик узкоглазый. Акы звать. Мировой парень. Без промаха на ходу с руки лупит и умеет держать язык за зубами. Если что — огоньком прикроет.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Не сразу остыло тогда тело младшего лейтенанта Ноговицина, успело растопить под собой снежок. Теперь колени и руки льдисто приварились к щетине скошенного клевера. Задубевшего, промерзлого Ноговицина завалили набок. Похрустывая, отодралась пола шинели, по шву распялился рукав. Игнат протолкнул руку за холодную, как погребница, пазуху мертвого, пошарил.

— Все на месте. Ордена, звездочка,— прошептал он.

— Обратно поспешим? — спросил Пятницкий.

— Оттащим вон за те кучи, отдышимся малость. Я поволоку, а ты раком пяться, поглядывай, чтобы немцы на спину не сели.

— Не беспокойся, прикрою,— заверил Роман.

Говорили тихо, в ухо друг другу. Пятницкому и с невеликим его боевым опытом ясно было, как вести себя в таких случаях. К тому же до полуночи хватило времени переговорить обо всем. Вроде бы каждую мелочь предусмотрели.

А вот этого никто бы не смог предусмотреть. Помогая Игнату половчее ухватить мертвого, Пятницкий задел сапогом неструганый дрючок, прижимавший клевер, и с копейки с церковным звоном посыпались снарядные гильзы. О-о, гадство! Какой болван их туда?! Может, оружие рядом

стояло или фриц хитрую сигнализацию спроворил? Черт его знает, гадать некогда.

— Уходи,— сдавленно поторопил Игната Пятницкий,—у меня гранат шесть штук. Задержу.

— Не докинешь.

— Подожду, когда придут, докину.

Но приходиться немцы не спешили, прежде два десятка автоматов обрушились на клеверные копны. Однако Пятницкий успел бревешком откатиться в сторону, за бугорок. Да и двести метров для автомата — только на авось надеяться. Лежал Роман, дышал в полгорла, прикидывал, как далеко успел отползти Игнат Пахомов со своим горестным грузом. Выходило, что достиг канавы. Теперь до самого кладбища будет от пуль укрытый, а там за могилой какой схоронится.

После звона гильз ни выстрелов, ни другого шума с нейтральной не слышали немцы. Перестали бросать ракеты, притихли, прислушались. На том бы и успокоиться им, да кто-то горячий нашелся, стал властно покрикивать. В онемевшей ночи слышно было, как меняют автоматные рожки, щелкают захватами, выскребаются на бруствер, перебрехиваются по-своему. Роман только слышал их, а увидел, когда метров на сорок подошли. Взмах отвел налившуюся силой руку, но кидать гранату не спешил, может, раздумают, повернут назад. Нет, не раздумали, прут. Человек десять, не меньше. Медленно, полушагом, но приближаются.

Близость опасности обострила зрение и слух, прояснила мысли. Спокойнее, лейтенант Пятницкий, спокойнее. Они насторожены, но ты не виден, то, что ты сделаешь, все равно будет для них неожиданностью. В этом твое преимущество, в этом твоя сила. Спокойнее, пусть вон дотуда дойдут, только не до межи, чтобы укрыться не было где... Не поворачивают? Что ж, для них хуже. Как для тебя потом будет, лейтенант Пятницкий, неизвестно, но для них уже плохо. Ой как плохо. Вон те три дурака чуть не прижались друг к другу. С них и начну... Кинул в эту троицу, не дождался взрыва, вторую кинул, теперь из автомата туда, где дважды плеснулось пламя, где грохнуло раз за разом — и назад за Пахомовым. Пока арийскую кровь зализывают, можно до канавы успеть. А тут еще молодчина Акы — или как его там — свое слово сказал: густые струи алых, желтых, зеленых трасс потянулись от дзота. Обрывались, вновь возникали и утыкались в сумрачно видный взгорок траншеи. Бей, солнечная Туркмения, немецкую сволоту, спасай мою молодую жизнь!

О-о ,гадство, за ракеты взялись, снова посветить захотелось, поярче посветить, пошире ночь разогнать. Но дудки, межевая канавка — вот она, и я в ней, можно вздохнуть глубже, охладить нервы. Но поди, охлади, когда тебя пронизала до жути беспокоящая мысль: а если следом за Баймурадовым из других дзотов огонь откроют? Они-то не знают, что тут их взводный с Пятницким ползает, спасают честь погибшего воина. Еще не хватало от своих погибель принять! Нет, молчат. Только Акы садит и садит, загоняет немцев на дно окопа. Может, предупредил других, чтобы не в свое дело не вступали?

Роман кинул еще две гранаты для острастки — и не ползком, а на четвереньках, на четвереньках для быстроты, благо канавку не очень-то

снегом задуло. А вот и каменная ограда кладбища с проломами, полежать две минуты — и туда.

Вот когда наш передок ощерился. И пулеметы, и минометы заговорили возбужденно. И не одной роты, трех сразу. К чертям передышку, броском до оградки. Где там! Чуть не впритирку зацвенькали пули, зафыркали в отскоке. Упал, голову за кочку сунул, а кочка — не кочка, одна видимость кочки — мышонку укрыться, да и то хвост наружу останется. Но в рубашке Роман родился, услышал голос:

— Сюда!

Впереверт на голос — и вниз, под уклон. Воронка! Килограммов на пятьсот тут бомбочка ахнула, укрытие Пятницкому приготовила.

— Цел? — тревожно спросил Игнат Пахомов, сползая следом за Романом туда, где скрюченно оледеневший лежал Ноговицин.

Дышалось Роману тяжело.

— Пересидим здесь,— сказал Пахомов.— Теперь спешить некуда. От немцев ноги унесли, осталась одна дорога — начальству в пасть. Э-э, да ладно... Дальше фронта не пошлют. Да ты что молчишь-то? Цел хоть?

— Цел, цел,— дряхло прохрипел Роман.

— В-во, весь батальон за нас грудью. Чуешь, чего настряпали с тобой? Из полка, поди, запросы, из дивизии...

С края воронки посыпались мерзлые комки, чьи-то тени зашуршали непромокаемой парусиной плащ-палаток.

— Эй, славяне, осторожнее, свои тут!— громко предупредил Пахомов.

Сверху, вонзая каблуки в подмерзший скос, тяжело спустился квадратный, большелобый старший лейтенант.

— Мать-перемать... в дугу... в христа... Под суд!— разорялся он. Увидев третьего, неживого, скрюченного, — притормозил, спросил с усилием: — Кто это? Он? За ним?

— За ним, за ним! — не собираясь раскаиваться, ответил Пахомов.

В воронку, не устояв на ногах, съехал не менее обеспокоенный происшедшим командир батальона майор Мурашов, за ним — двое солдат. Мурашов склонился над трупом, ухватил мерзлые щеки ладонями, молча вглядываясь в отчужденно стылое лицо.

— Коля... Ноговицин,— замедленно произнес он. Не потому что узнал, а потому что душа понуждала сказать что-то, и сказать он смог только это. Лишь погодя, стараясь быть суровым и не в силах этого сделать, обратился к Пятницкому:

— Почему вот так вот? Анархисты чертовы...

Старший лейтенант опять было начал лаяться по-черному, но Мурашов оборвал его:

— Тихо, тихо...

— Получишь ты у меня,— буркнул все же ротный в адрес Пахомова.

Мурашов, имея в виду совсем иное, добавил:

— Все получают, кому что положено. Никого не обнесем.

Мурашов встал с корточек, хлопнул Пахомова по дюжей спине и распорядился:

— Ноговицина ко мне в землянку,— повернулся к Пятницкому, шевельнул подбритыми франтоватыми усиками.— А вы, лейтенант, откуда? Из поддерживающей? От Будиловского? Новенький? Как фамилия?— И, не дожидаясь ответа на серию своих вопросов, закруглил: — Снюхались уже.

Непонятно было — в осуждение или с одобрением сказал.

О том, что Пахомов и артиллерийский лейтенант ушли на нейтральную полосу за телом младшего лейтенанта Ноговицина, командир батальона узнал от пулеметчика Баймурадова во время ночного обхода огневых точек. Застигнутый врасплох за приготовлением к ночной стрельбе, Акы Баймурадов не мог скрыть того, чего так и так не скроешь, и прикрытие самовольной вылазки велось уже под непосредственным руководством майора Мурашова. Командир батальона поднял на ноги не только своих людей, но и поддерживающую батарею капитана Будиловского.

Вернувшись к себе, Пятницкий застал Будиловского прилипшего к стереотрубе. Тот мрачно посмотрел на виновато понуренного Пятницкого и поднялся с футляра стереотрубы.

— Вернулся, лейтенант? — спросил Будиловский бесцельно.— Садись, занимайся своим делом.— Повернулся и заскрипел ступенями вниз.

Командир дивизиона капитан Сальников пришел на НП седьмой батареи перед обедом. В присутствии Будиловского строго сказал Роману:

— Вас следует примерно наказать, товарищ лейтенант. За самоуправство. Но так и быть — воздержусь.— Нахмурился еще больше и потряс пальцем перед носом Романа: — Смотри у меня!

Когда Пятницкий вышел, Сальников повернулся к Будиловскому — кислому, непроспавшемуся,— сказал:

— Это я для острастки лейтенанту, а вообще... Командир батальона через головы всех прямых и непосредственных дозвонился до генерала Кольчикова. Сегодня будет подписан приказ. Лейтенанту твоему и сержанту из пехоты кое-что светит.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Было по всему видно, что долгому, муторному, изрядно поднадоевшему и расслабляющему сидению в обороне приходит конец. Со страниц «дивизионки» повеяло по-боевому бодрящим, в солдатских котлах помимо концентратов забулькало что-то еще более существенное, исчез, пропал, испарился, будто и не было его, филичевый табак, и славяне породнились с «эх, махорочкой-махоркой», исправней и бойчее закрутились шестеренки полевой почты, обозначились и другие вестники наступающих перемен — солидные и внушительные: разборы скопившихся заявлений о приеме в партию и в комсомол, ночные вылазки дивизионных разведчиков, загадочные визиты на передок представителей сверху и какое-то невидное, лишь угадываемое обостренным солдатским чутьем сгущение живых и механических сил там, далеко за спиной. Одним из таких признаков можно было считать и вызов Романа Пятницкого в штаб полка.

Для Романа это известие — что гром среди ясного неба, многоопытный же командир батареи без колебаний отнес его к примете грядущего. Нелюдимо замкнутый последнее время, подавленный чем-то своим, капитан Будиловский лишь один в батарее знал, что своевольная вылазка Пятницкого

к немецким позициям не только прощена, но и оценена должным образом, но ничего не сказал ему.

По пути к штабу Роман мучился догадками.

Может, перед наступлением новое назначение? Вот уж это ни к чему, только-только успел обвыкнуться, узнать людей... А если то, из штрафного?

Приземистый особняк с обрушенной до скелета кровлей совсем не изменился за минувшие два месяца, но все окружающее его приобрело обжитой вид, суровую военную подтянутость. За чахлым по зиме садом, там, где еще недавно громоздились останки изодранных в бою немецких машин, теперь задами вверх торчали из своих укрытий «додж» и «виллис», а вдоль кирпичного сарая в такой же неактивной позе — несколько «студебеккеров». В расчищенные руины соседнего сарая впячен крытый «газик» с антенной, метрах в трехстах — горбы землянок с многослойными накатами. И у машины, и у землянок топчутся часовые. На крыльце особняка, где расположился непосредственно штаб, часового почему-то не было. Там, прислонившись к бетонным балясинам, утомленно курила женщина-сержант.

Пятницкий попереминался, тяжело вздохнул и шагнул на крыльцо. Сержант притоптала недокурок, вяло улыбнулась:

— Поздравляю, лейтенант.

— С-с чем,— смешался Пятницкий, козыряя усталому представителю штаба.

— Будто не знаешь. Первый раз получаешь? — не ответила она на приветствие и неожиданно повысила голос: — Виталька! Вот еще один герой, принимай.

Пятницкий обернулся туда, куда посмотрела и крикнула женщина. От землянок бежал молодой, его возраста офицер. Он был без шинели, в щегольски растопыренных, как крылья махаона, бриджах, из-под меховой безрукавки выставлялись редкие на фронте парчовые погоны. Офицер с ходу сунул Роману свою руку.

— Из третьего дивизиона? Это ты за Ноговициным ходил? Пятницкий фамилия?

— Пятницкий, товарищ лейтенант.

Офицер хмуро оглядел Пятницкого с ног до головы, не выдержал и поправил:

— Капитан. Капитан Седуни, адъютант командира полка. Идем, идем,— подтолкнул он Романа к двери.— Повезло сегодняшним, сам Кольчиков прикатил.— И упрекнул: — Нет, что ли, гимнастерки получше? Чего в застиранную вырядился?

Намек женщины-сержанта и суетливые вопросы адъютанта Седунина сделали свое дело: через кровавой шум в голове к сознанию Пятницкого пробилось то, о чем уже подумал чуть раньше: «Может, и правда?»

— Раздевайся,— с приглушенной сердитостью распорядился адъютант.

Роман отступил к порогу, постучал сапогом о сапог, стряхивая остатки снега, и тогда уже бросил шинель на ящик рядом с безрукавкой капитана Седунина.

В довольно просторном покое с тремя разномастными столами находилось несколько человек, вид у них был послеобеденный. Генерал,

которого Роман раньше не видел, сидел сбочь квадратного стола. Широко расставленные крепкие ноги генерала плотно обтянуты хромом голенищ и вбиты в паркет, на мускулистом прогретом лице с клочковатыми бровями — серые, внимательные глаза, под черным треугольником усов — толстые, в добродушном извиве губы. Рядом с ним пристроился сухощавый, с недоступной и свирепой внешностью двадцатипятилетний командир полка Варламов в кителе с жестким, дудкой, воротником, со слепящим блеском орденов. На узкой груди подполковника орденов казалось больше, чем у генерала, хотя это было не так.

Роман, успевший привести нервы в норму, с добротной уставной выучкой доложил генералу, что «прибыл по вашему приказанию», хотя и понятия не имел — чье было приказание.

Генерал легко поднялся и протянул руку к столу, где на тусклом, согнутом створками картоне лежала медаль с изображением танка. Сухота в горле Романа сделалась нестерпимой. Голос генерала дошел до него сквозь войлочный завал:

— Поздравляю... правительственной...

Генерал подал ухватистую ладонь, почувствовал в ней такую же по-мужски цепкую и левой рукой сверху прилепнул это рукопожатие — печать наложил, заверил подлинность происходящего.

— Ну, лейтенант, дай бог, не последняя.

Что скажешь на это? Служу?.. Нелепо. Роман шевельнул застрявшим горлом, сглотнул.

— Спасибо, товарищ генерал.

— Комсомолец? — желая что-то добавить к уже сказанному, спросил Кольчиков.

Роман споткнулся было в ответе, но встретил немигающий взгляд, не отвел своего и тихо, но внятно, слышно для всех, произнес:

— Никак нет, исключен.

Надглазные мышцы генерала дрогнули, прынула вверх, сломалась углом клочковатая бровь.

Из-за стола поднялся начальник штаба полка Торопов — высокий, седой, с мудрым лицом майор и, продвигая по столешнице другую картонку, похожую на офицерское удостоверение, но уже с орденом Красной Звезды, сказал:

— Глеб Николаевич, вот... Из пятсот семнадцатой, по девятому штрафбату.

— Это о нем шла речь, Сергей Павлович? Он и есть тот самый Пятницкий? — с раздражением спросил генерал.

Взгляды присутствующих скрестились на Романи — взгляды бывалых, мужественных, битых и ломанных войной солдат. Они умели оценивать всех и вся своею высокой меркой.

— Дайте его личное дело! — тем же тоном распорядился генерал.

Кольчиков сел, с треском полистал содержимое папки, поданной начальником штаба. Насупленно и долго читал убористый машинописный текст двух листов папиросной бумаги. Откинул папку, зло пошевелил

губами— зажевал грязные слова. В своей свите, занимавшей круглый стол, разыскал глазами человека с погонами майора юстиции, спросил:

— Что тут можно сделать?

— Сразу должны были сделать, товарищ генерал,— не вставая, ответил майор. Он заполнял какой-то бланк, взятый из полевой сумки.— Наградить ума хватило, а справку сразу...

Крыласто раскинув руки по столу, генерал Кольчиков остро посмотрел на Романа:

— Такие дела, Пятницкий. Война, она, стерва,— всякая... Будь настоящим воином, не держи на страну сердца.

Он знал об ордене. Сказали еще тогда, после боя Но мало ли — сказали, могли и... Губы Романа дернулись.

Стронув стол, генерал подошел, сильными, ловкими пальцами, едва не оторвав пуговицу, расстегнул Роману гимнастерку и безжалостно прорвал материю длинным нарезным штырем ордена, подал винт.

— Привинти.

Майор юстиции подождал, пока Пятницкий освободит руки, протянул листок со слепым от копирки текстом и чернильными вставками вместо пропусков.

— Приберите, Пятницкий, пригодится.

Генерал Кольчиков прошелся по комнате туда-сюда, пригасил гнев, сказал начальнику штаба Торопову — высокому и седому майору:

— Выдери обвинительное к чертовой бабушке, Сергей Павлович. Ему завтра в бой идти, его убить могут, а тут... Вырви с кишками, чтобы не пахло.

Посмотрел на майора юстиции, сел и стал растеребливать пачку с папиросами. Юрист понимающе поморщился губы, поднес Кольчикову зажженную спичку. Поглотаив дыму, генерал с невеселой улыбкой приободрил Пятницкого:

— Ничего, теперь ты кованный, будешь рубить до седла Иди, дорогой, воюй.

От долгого стояния навтыжку, от волнения у Романа не получился поворот — качнуло. Качнулся, сделал шаг, но тут же был остановлен командиром полка Варламовым:

— погоди, командир-то полка должен поздравить или нет?

Подполковнику Варламову, видно, приятно было произносить слова «командир полка», и он сказал их рокошуще, с удовольствием. А может быть, потому сказал с удовольствием, что с лейтенантом все вот так получилось — не тогда где-то, а сейчас, в его присутствии хорошо получилось. Варламов подошел легко, спортивно, потряс руку.

— А насчет этого,— чиркнул большим пальцем где-то под скулой.— Седунин, распорядись там...

У крыльца Романа Пятницкого дожидался ординарец Будиловского Степан Торчмя.

— Вы чего здесь, Степан Данилович? — удивился Пятницкий.

— Севостьяныч встретить велел,— косясь на адъютанта и козыряя ему, ответил ординарец.— Его командир дивизиона вызвал, оттуда мы в

Варшлеген причапали. Они со старшиной закусь соображают, а меня сюда разжиться турнули.

Адъютант хохотнул:

— Не дремлют пушкари. Фляжка-то есть, солдат? По сему большому поводу наполнить велено.

— Что? — переспросил далеко не глухой Степан Торчмя.— Фляжка? Нету фляжки, товарищ командир. Вот жалость, может, вы что приищите?

— Ладно, ждите,— адъютант помчался по известному ему адресу.

— О, Степан Данилович, вы еще и бестия ко всему прочему. Фляга-то вон, зачем соврали?— упрекнул Пятницкий.

— Как вы все видите, какие у вас глазки острые,— скосбочил голову Степан Торчмя.— Она, поди, не порожняя. Водчонку я вон в той землянке у военных женщин выцыганил.

На дворе заметно и быстро смеркалось. Степан Данилович недовольно повертел головой:

— Куда это расхороший командир запропастился? Пораспустили их тут...

— Пойдемте, хватит нам и того, что есть,— притронулся Пятницкий к плечу солдата.

— Владимирыч, не грешите, ради бога. От водки отказаться! Страсти какие!— неподдельно изумился ординарец комбата.

Подбежал рассерженный капитан Седунин.

— Кладовщик, скотина... Пока нашел. Держи пять, лейтенант, поздравляю и так далее...

Степан Торчмя, освобождая адъютантские «пять», поспешно перехватил взбуйкнувшую флягу.

Из разбитой дереvушки выбрались на дорогу к Варшлегену. Трехкилометровая отдаленность от передовой глушила звуки дремлющей позиционной войны. Здесь не было шумнее, но в сгущающихся сумерках солдатское ухо распознавало разделенные и настороженные работы. В низинке за буковой рощей урчали моторы тягачей, чуть поодаль позвякивали лопаты — готовили площадки для тяжелых орудий, за вековыми липами дорожной посадки вольно и россыпью, судя по голосам, шла колонна воинской части. Справа торопливо, опережая друг друга, злясь и сатанея, застучали зенитки, отгоняя припозднившуюся, принохивающуюся немецкую «раму».

Степан Торчмя задал навеянный всем этим вопрос:

— Про наступление не выпросили, Владимирыч?

— Нет, не спросил.

— А скоро, поди, кожей чую. Нонче бы и кончить ее, войну проклятую. До сенокоса. Пропасть как надоела. Прямо изболелся весь. Вчерась приснилось, будто иду по утренней траве, роса холодит босые ноги, а моя литовка — вжик, вжик, вжик... Ах, мать моя родная... Даже сердце захолонуло... Да что это я! Владимирыч, медаль, медаль-то покажите!

— Медаль медалью, Степан Данилович, еще и Крас-ню Звезду получил,— погордился Пятницкий.

— И Звезду еще! — восхитился Степан Торчмя.— Чинно! За что, Владимирыч?

— Это...— замешкался Пятницкий,— из прежней части, там награжден.

— Чинно, чинно. Рассказали бы.

— А, чего там... Мне вот, пока совсем не стемнело, бумажку бы одну прочитать, Степан Данилович.

Пятницкий, царапая тело штырьком ордена, извлек из нагрудного кармана документ, врученный майором юстиции, затаив дыхание, пробежал по нему глазами:

«Настоящая справка выдана (вписано от руки: Пятницкому Роману Владимировичу) в том, что он определением военного трибунала... дивизии от... за проявленные отличия в боях против немецких захватчиков освобожден от отбытия назначенного ему по ст. 193-17 п. «а» наказания — лишения свободы сроком на (вписано от руки: пять лет) и в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 26 февраля 1943 г. признан не имеющим судимость. Председатель военного трибунала...»

Заметя, как посуровело лицо Пятницкого, Степан Торчмя спросил:

— Важная бумага, Владимирыч?

— Очень важная, Степан Данилович, очень.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В ту предгрозовую пору редкий мальчишка не переболел мечтой стать если не Чапаевым, то, на худой конец, моряком или летчиком. Чтобы артиллеристом, такого Роман не знает. Во всяком случае, лично ему подобное в голову не приходило. Оборонных значков, отличавших активиста от обычного смертного, к восьмому классу на пиджаке Романа было не меньше, чем спортивных медалей у знаменитого борца Ивана Поддубного,— «Ворошиловский стрелок», БГТО, ПВХО, БГСО, ОСВОД и даже «Юный пожарник», но в военкомате, когда подошел срок, нашли, что это военно-прикладное богатство, скорее всего, нужно артиллеристу. Так сказали. На самом же деле, не без оснований думалось Пятницкому, получил он назначение в артиллерийское училище потому, что оно, перебазированное на Урал с берегов Черного моря, находилось неподалеку от Свердловска

Пятницкому повезло на преподавателей. Почти все они прошли Хасан, Халхин-Гол или финскую. Даже командиры курсантских отделений в их батаре были не из желторотых однокашников, а сержанты, только-только подлечившиеся после ранений. Пятницкий охотно и довольно успешно впитывал военные премудрости, радовался этому и не подозревал, что похвальные знания явятся в скором времени источником глубочайших душевных мук.

По прошествии одиннадцатимесячной, едва не круглосуточной учебы Роман Пятницкий в числе нескольких преуспевающих курсантов был досрочно выпущен из училища с наивысшей аттестацией — на должность начальника разведки дивизиона с правом выхода в гвардейскую часть.

И тут-то вступила в силу справедливая (с точки зрения начальства), но и абсурдная, противоречащая их помыслам (с точки зрения таких, как Пятницкий) кадровая политика той поры: умеешь — учи других. Пятницкого направили в Горьковскую область, где дислоцировался артиллерийский запасной учебный полк, готовить для фронта солдат-пушкарей.

Военкоматы присылали сюда дождавшихся своего часа парнишек-новобранцев — худых, заморенных, изробившихся, но переполненных решимости в пух и прах расколошматить фашистскую Германию; возмужалых, знающих, что почем, фронтовиков из госпиталей; бодрых участников первой империалистической и гражданской и не участников, но тоже рождения конца прошлого века; рабочих, наконец-то освободившихся от брони, и каких-то сытых личностей, неожиданно лишившихся этой брони; сереньких хамов, отбывших срок за уголовные преступления; лобастых от стрижки, без вины виноватых парней из районов, освобожденных от оккупантов, и всякий другой люд, способный и обязанный носить оружие,— так называемый переменный состав.

Взводные и выше считались постоянным составом, и Пятницкий с ужасом думал, как бы не остаться «постоянным» до конца войны. Такая вероятность не исключалась в силу все тех же парадоксальных вещей. Чем больше он вкладывал в дело души и энергии, тем больше возрастала эта вероятность.

Лагерь учебной дивизии возник на пустынном месте в первые месяцы войны. Мелкий сосняк на песчаной почве, землянки-казармы, землянки-штабы, землянки-классы, землянки-склады... Офицерские общежития — тоже землянки.

В сумерках, когда, попукивая, затарахтел дизельный движок и по проводам пригнал от динамо слабенький ток к лампочке, Пятницкий, казнясь своим долгим молчанием, засел за письмо матери.

Писал торопливо, не перечитывая — не надеялся на долгий покой на исходе суматошного дня (принимали, мыли, экипировали новобранцев),— писал о том, что будет радостно маме, что подтеплит ее душу, захладевшую после известия об отце: пропал без вести. Писал о своем великолепном самочувствии, хорошем питании, о прекрасных товарищах и командирах, о всегда чистых и сухих портянках, кое-где привирая при этом (не всякая правда по сердцу маме),— писал о том, что порадует маму; ее расспрашивал о житье-бытье, все еще не в силах представить слабенькую, интеллигентно-наивную, бесконечно дорогую и милую маму, гримершу театра, в брезентовом фартуке, в обшитых кожей вачегах на нежных руках, с грязным лицом от гудронной копоты и металлической пыли,— представить ее возле скрежещущей «гильотины», под мощный нож которой она, резчик металла, то и дело подставляет тяжелые, глухо вибрирующие, еще не остывшие после проката и с неровными, острыми, как бритва, краями листы стали... Она оставила театр со всеми эвакуированными сюда знаменитостями сцены и пришла на Верх-Исетский металлургический завод после известия о зловещей, не до конца ясной судьбе мужа, работавшего в листопрокатном цехе сменным мастером.

Последние строчки дописывал под нетерпеливым взглядом переминающегося с ноги на ногу посыльного, передавшего приказание явиться к подполковнику Богатыреву.

Прямо к Богатыреву? Что ж, когда командир дивизиона в отъезде, когда командир батареи в отъезде, то и Пятницкий — прямо к Богатыреву.

Заместитель командира полка по строевой части подполковник Богатырев был высок (до войны в артиллерию подбирали почему-то только рослых), строен, крепко мускулист, красив мужественными, броскими чертами лица. Вся внешность его, сорокалетнего, была покоряюще притягательной. Роман молился на Богатырева, прекрасного знатока артиллерийского дела, всегда с радостным трепетом ждал его прихода на занятия или с проверкой в караульное помещение, наблюдал в часы подъема по тревоге, любовался впаянным в седло во время учебных походов.

Юношескую влюбленность не могли поколебать даже собственноручные отказы Богатырева на рапортах Пятницкого об отправке в действующую. Возвращая рапорт, Богатырев с виноватостью улыбался, в дружеском бессилии разводил руками. Если Пятницкий начинал строптиво настаивать, Богатырев, чуть нахмурившись, говорил:

— Я же не встаю на дыбы, когда мне отказывают.

И это убедительно охлаждало. Если уж подполковник Богатырев не может добиться отправки на фронт, то куда ему-то, лейтенанту Пятницкому!

Все нравилось Роману в подполковнике. Даже звучная фамилия Богатырев, даже необычное имя Спартак, даже единственная медаль «XX лет РККА».

Подполковник Богатырев встретил его, не поднимаясь из-за стола. Нервно осунувшееся лицо. Глаза, которые Роман привык видеть искрящимися живостью и умом, сейчас были сухие и отрешенные, взгляд уходил куда-то за стены кабинета. Видно было — мучило подполковника что-то свое, личное.

В крохотном женском обществе учебного полка, затерявшегося в песчаном мелкоколесье, красавец Богатырев был вне конкуренции. Когда кто-нибудь заводил об этом разговор, Пятницкий передергивал носом и отмахивался — да пусть его! — хотя с огорчением замечал, как под тяжестью новых и новых любовных успехов Спартака Аркадьевича его кумир начинает блекнуть. А теперь вот эта смерть молоденькой посудомойки из офицерской столовой. Конечно, не Богатырев свел ее с деревенской повитухой, но... Тень от тучи, нависшей над Богатыревым, — вот она, на лице. Не исключено, что разговоры о парткомиссии — тоже правда...

Разглядывая какую-то бумажку — не поймешь, нужную или ненужную в данный момент, — Богатырев угрюмо сказал:

— Предстоит поездка на две-три недели. Послать больше некого, Пятницкий.

Действительно, кого еще? Все офицеры уехали с маршевым эшелоном. Только вот куда поездка, зачем?

Богатырев сделал паузу, вздохнул при мысли о том, что сейчас скажет, и сказал:

— Колхозу помочь надо, заодно для дивизии заготовить. Забирайте всех вновь прибывших — и в Приок-ский колхоз. Сено косить будете.

Вот оно что! На сенокос. Как не порадоваться человеку, измученному военной муштровкой. Только как это — забирай вновь прибывших? Он их еще разглядеть не успел, по взводам, по отделениям не разбиты. Присягу не принимали. Потом... Призывник призывнику рознь. Новобранцы, как один, из западных областей, что отошли от Польши. С такой хохляцко-польской мовой,

что и не поймешь, о чем «гутарють». В бане мыл... Надо же — у каждого крестик на бечевке. Не сена, как бы чего другого не накопить. Вся жизнь под панями да фашистами, о Советской власти только от них знают.

Пятницкий сказал о всем этом подполковнику Богатыреву. У того дернулся уголок губ. Что же это получается? В недоумении его обвиняют? Не подумал юноша, что перечит начальству, что может неудовольствие, гнев вызвать?

Пятницкий не подумал, а вот он, Богатырев, когда в дивизии сказали о сенокосе, подумал. Ему бы по-деловому о том же, о чем сию минуту сказал Пятницкий, да добавить к этому, что новобранцы еще и через фильтр особистов не прошли, а он подумал о возможных для него последствиях из-за смерти девчонки — и не сказал.

Богатырев сдержал раздражение, лениво и осуждающе сказал:

— Приказы не обсуждают, Пятницкий.

— Я не обсуждаю,— слабо возразил Пятницкий.— Может, подождать, когда вернутся сопровождающие эшелон. Что я один с этими...

У Богатырева снова задергался уголок губ. Еще не хватало, чтобы закричал сейчас. Пятницкий приложил руку к пилотке:

— Разрешите идти?

— Вернутся офицеры — пришлю,— буркнул Богатырев.

На сенокосе крутился как мог. С одним сержантом. Ленивый и себе на уме, сержант был вроде помпохоза. Кладовая, пшено, шпик — остальное ему как щучке зонтик. С косцами одному Роману приходилось. Все из крестьян, работающие, исполнительные, иные до угодливости исполнительные — даже противно становилось. От рассвета до темноты, как машины, пластали высокие пойменные травы.

Жили в здании школы. Распорядок — уставной: ночное дневальство, утренняя поверка, вечерняя поверка, осмотр «по форме двадцать» (не завелось ли в белье чего живого) — все как положено в армии. Физзарядку только не проводили — ее на покосе хватало. Самоволками, самогоном, другим недозволенным даже не пахло. Колхозницы сердились на Пятницкого. Сам, дескать, недоспелый, то хотя бы хохлов своих не держал взаперти.

Смехом, конечно, говорили такое. Да что уж там, не всякое желание шуткой прикроешь. Только солдаты Пятницкого были равнодушны до игрищ — семейные большей частью, блюли себя. Да и изматывались до крайности, только оставалось на уме — поест скорей да носом в солому, до утренней зорьки.

Ночами Пятницкий вставал, проверял часовых-дневальных. Спали, неразумные. Как не уснешь после костоломки под палящим солнцем! Растолкает Роман умаявшуюся стражу, поворчит — и ладно. Сам вконец вымотался от недосыпу. Дней десять спустя после приезда с грехом пополам, едва не оборвав в правлении ручку настенного аппарата, дозвонился до полка, доложил о ходе работ. Богатырев порадовался цифрам скошенного, похвалил, снова пообещал прислать сержантов и офицеров в подмогу. Пообещал и не прислал. А вскорости в ненастную ночь из отряда исчезли семеро — самые угодливые.

Облаву Пятницкий устроил всем колхозом. Но что это за облава — девки да бабы. Потоптались возле поскотины и подались домой. Причину выдвинули уважительную: не ровен час, бахнут из ружья... Бахнули только на третий день, в соседней области — изголодавшиеся забили овцу. Но Пятницкого в это время уже не было в Приокском колхозе, был он в части и давал следователю показания по поводу чрезвычайного происшествия.

Пятницкого судили показательным — за преступно-халатное отношение к исполнению воинских обязанностей.

О том, что те семеро из неопознанных бандеровцев — об этом ни слова не было сказано. Об этом говорили, наверное, там, где судили дезертиров, здесь упоминать о них не нашли нужным.

Осуждающе-ярко выступил подполковник Богатырев. Оказывается, Пятницкий — самонадеянный офицер, у него не нашлось смелости сказать, что не справится с заданием, игнорировал указания командования, не поставил в известность о возможном побеге... Преступление Пятницкого должно послужить примером другим...

Его не арестовывали, не лишали звания, у него даже не изъяли того, к чему поспешил сразу после зачитания приговора, но пистолета на обычном месте в землянке не оказалось. В землянке сидели вернувшиеся с заседания трибунала офицеры батареи и лысый, насупленный капитан Вербов — парторг дивизиона. Пистолет Романа лежал на планшетке Вербова. Вербов подождал, когда лейтенант Пятницкий закончит поиски, сделал зверское лицо и показал ему кулак левой руки — на правой руке парторга Вербова не было четырех пальцев. Пятницкий лег на топчан и заплакал...

С подполковником Богатыревым Пятницкий встретился утром в коридоре штаба полка. Хотел пройти мимо, даже не приложив руки к фуражке, но Богатырев сделал движение в сторону и загородил ему путь.

— Как думаешь до станции добираться? — спросил подполковник.

Не было желания и отвечать, но это было бы слишком. Богатырев все же заместитель командира полка, по существу командир, поскольку полковник, весь израненный, то и дело лежал в госпитале.

— Проголосую на шоссе,— буркнул Пятницкий.

— Запряги моего Упора в коляску. Если дом по пути, продлю срок прибытия.

— Не по пути. Мой дом на Урале,— посмотрел на стену Пятницкий.

— Упора возьми,— повторил Богатырев и чуть колыхнулся, чтобы идти, но замер, заметив мгновенно мелькнувшую на лице Пятницкого тень нерешительности.— Говори.

Это «говори» сломило Романа. Иного выхода у него не было.

— На пару часиков Упора... Под седло.

— На весь световой день. Отбыть можешь и завтра,— отчеканил подполковник Богатырев и своей красивой, стройной поступью скрылся за какой-то дверью.

В батарее было восемь лошадей — доходяга на доходяге. Порой, когда даже не оставалось охапки сена, под их животы подводили ременные постромки, чтобы не упали и не околели. Девятым был жеребец Упор, верховой конь Богатырева, заместителя командира полка по строевой части,

который статью своей напоминал своего хозяина. Он только квартировал в конюшне батареи. Ухаживал за ним, прогуливал и кормил его особым рационом специально приставленный сержант из штабной братии, похоже, из категории самосохраняющихся от невзгод переднего края. Настолько он был подхалимист и лакейски услужлив, разумеется, не с лейтенантами.

Сержант оглаживал Упора овальной щеткой, очищал ее о скребницу и тягуче ныл что-то бессловесное. Коротко привязанный к коновязи, Упор приятно вздрагивал лоснящимися боками. Ни слова не говоря, Роман принес седло, стал заседлывать жеребца. Сержант перестал гундосить, удивленно заморгал желтыми глазами. Бывало, этот Пятников, или как его, объезжал Упора, а теперь-то... Осужденный ведь. Господи, верхи куда-то наладился. Сказать — так кабы чего... Эвон бугай какой... Когда Пятницкий стал толкать удила в зубы закапризничавшей лошади, сержант пересилил робость.

— Куд-да эт-то? Куд-да? — запротивился он, хватаясь за чембур.— По какому такому позволению?..

Разговор с подполковником Богатыревым, радость скорой встречи с Настенькой ослабили тяжесть свалившегося, влили в Романа веселую и злую приподнятость. Сержант услышал от него такое, чего никогда не слышал от лейтенантов в учебном полку:

— Не кудахчъ, не курица. Марш открывать ворота!

Посеменил ведь, распахнул жердевые провисшие ворота. Он потом поспешит, конечно, куда следует, осведомит кого надо... Ох уж будет, если что, офицеришке...

Пригодилась одинаковость роста с Богатыревым — стремяна не надо подгонять. Роман легко взметнулся в седло, понудил застоявшегося Упора боковым шажком, с перебором, выйти за ворота, крикнул оттуда сержанту, чтобы к вечеру приготовил коляску, и бросил Упора в галоп.

Маршрут учений, состоявшихся месяц назад, проходил через деревеньку на берегу Клязьмы. Пятницкий и два других взводных из батареи высмотрели из стайки прибежавшей детворы мальчонку побойчее, попросили принести напиток. Парнишка шмыганул в ближайшую калитку, а лейтенанты, приморенные пешим переходом, уселись на скамью у ворот. За высокими глухими воротами, подрыхлевшими без хозяйского досмотра, усиливая давно мучившую жажду, забренчала колодезная цепь. И тут же раздался девичий голос:

— Товарищи, вы пройдите сюда.

Подошли к колодезному срубу. Придерживая рукой тяжелую помятую бадью, стояла в полинявшем платице с пряменько гордым поставом головки то ли девушка, то ли девочка. Роман глянул на нее и ослабел, прилип глазами. И с ней враз что-то случилось. Смотрит прямо в лицо, а в глазах столько удивления — испуганного и радостного одновременно. Друзья даже подумали — знакомые встретились. Не стали любопытствовать, попили и молча подались из ограды. Из расклепавшегося шва бадейки бьет струйка воды, густые, невесомо льняные волосы колышет речное дуновение, играет ими в солнечной яркости. Парнишка дернул бадейку, оплеснулся остатками, обругал сестру:

— Настя, че рот-то разинула, командир пить хочет!

— Ой,— сдавленно вскрикнула девушка,— я сейчас, извините.

Роман завладел воротом, сам добыл воды. Братишка убежал — на улице интересней. А Роман так бы и стоял, век не уходил никуда. И ей уходить не хотелось.

О чем говорили потом — убей не помнит.

Возвращаясь с учений, снова зашел. У ворот стояла, ждала Настенька — умытый росой ландыш среди подорожника. Вспыхнула вся, засветилась счастливой нежностью, в избу позвала. И вот уж чего совсем не ожидал — к матери потащила. «Мама, это Рома, знакомься... Папа у нас на фронте... Это братишки, сестренки, на печке еще одна. Семеро нас у мамы...» Говорила и говорила с непосредственностью подростка, всю родословную пересказала. Табель свой за седьмой класс притащила. Ни одной «удочки». В девятый пойдет, в учительский институт поступит... А он разок назвал ее Настенькой, потом не мог остановиться — Настенька да Настенька.

За деревней сыграли сбор сигнальные трубы.

— Ой! — как в тот раз, вскрикнула Настенька, и от этого вскрика Роману защемило сердце тянущей болью. Как еще из ума не вышибло адрес свой оставить, Настенькин записать...

Теперь вот — третья встреча. Не думал, не гадал, что такие сообщения таким вот Настенькам надо как-то по-особому делать. Взял и бухнул, и не ей, а матери:

— Елизавета Федоровна, проститься приехал. На фронт уезжаю.

Кажется, даже весело сказал. Обрадовал! Роман ты Роман неразумный, болван с языком-распустехой, дурак по самую маковку... Глаза у Настеньки становились все больше и больше, заволакивались влагой. Припала острыми грудками к пропыленной гимнастерке Романа, обхватила за шею — при матери, при сестренках, братишках голопузых,— заплакала громко, надрывно. Несмышлениши тоже в рев пустились. Тот, что водой поил, Настенькин погодок, шоркнул рукавом под носом, выскочил в сенки. Елизавета Федоровна, глядя на дочку, оцепенела. Неужто и дочушке приспело отрывать от сердца... Боже мой, рано-то как, боже...

И у Романа стало под веками набухать, мямлит что-то. Тут вернулся парнишка, не зная того, выручил:

— Я коня вашего во двор завел, сена бросил.

Настенька оторвалась от Романа, ушла за занавеску.

— Зачем же сено, поди...— хотел упрекнуть Роман Настенькиного братишку, но тот махнул рукой:

— Ниче, нонче мы с сеном. С мамкой да Настей добрую копешку поставили. Дожди вот прошли, еще укус хоть махонький сделаем.

Будь она неладна, война эта! Э-э, да что там... Сказано — на весь световой день, пусть так и будет.

— Попоить коня-то? — деловито спросил мужичок, а другое, что охота спросить, в глазах высвечивает. Только убрал он глаза, уставил куда-то в угол. Но такое и по затылку угадать можно. Сам-то- давно ли таким был. Роман понимающе подмигнул ему:

— Заберись-ка, парень, в седло, да погоняй немножко. Конь строевой, ему проминка требуется.

Просиял парнишка. Рубаха полыхнула в дверях — и пропала.
Настенька появилась из-за занавески смущенная, ужатая вся.

— Елизавета Федоровна, мы погуляем немножко? — робко спросил Роман.

Мать горько вздохнула:

— Идите, идите, милушки вы мои, попрощайтесь. Господи, горе-то, горе-то какое...

По огороду, за огородом ходили, на бережку посидели. Прощались у ворот. Не заплакала больше. Тоскливо смотрела на Романа, пальчиками притронулась к его щеке, погладила бровь. Ну какая она девочка! Разве девочка может сказать такое:

— Как в песне той грустной... Рома, неужто и мне такая судьба выпадет?

— В какой песне? — осторожно спросил Роман.

Настенька тихо пропела: «Помню, я еще молодухой была...»

Не по себе сделалось, заговорил торопливо, сбивчиво:

— Настенька, милая, я люблю тебя, я живой вернусь, приеду к тебе...
Настенька...

Настенька тепло дышала в шею Роману. Возле палисадника Упор позванивал удилами, голопузые ребятишки поглядывали в окошко.

Настенька подняла подбородок, потянулась, к губам Романа, припала к ним своими молочными, неумелыми.

Так и расстались...

В тот же вечер Пятницкий выехал в распоряжение штаба Третьего Белорусского фронта, оттуда в Каунас, где пополнялся новым составом девятый штрафбат.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В уютно обжитом закутке сарая, занятого хозяйством дядьки Тимофея, прихода Пятницкого и Степана Даниловича ожидали комбат Будилковский, вызванные с огневых командиры взводов Рогозин и Коркин, а также обитающие при старшине санинструктор Липатов, артмастер Васин, командир отделения тяги Коломиец. Увидев столь представительное собрание, Степан Торчмя воскликнул:

— Елки-моталки!- А вы говорите, Владимирыч,— зачем водка. Тут канистру подавай — и то мало будет.

Капитан Будилковский встретил Пятницкого необычайно оживленно и многословно. Роман, грешным делом, причину такой метаморфозы увидел во флягах, а сбор батарейной элиты отнес к собственной персоне. Но вскоре убедился, что все это так и не так.

Командир первого огневого взвода, он же старший на батарее, недавний студент консерватории Андрей Рогозин высок и статен, интеллигентен до самой малой косточки. В зубах фасонистая трубка, дымившейся которую Пятницкий никогда не видел. Рогозин с располагающей улыбкой взял у Романа шинель, передал старшине Горохову, без зависти порадовался наградам.

Коркин бравого вида не имел: низкоросл, худощав. Он поклевал ногтем эмаль ордена, прикинул на вес медальную бляху. Имея в виду награды, спросил удивленно:

— Сразу две?

Пятницкий отшутился:

— Больше не было, пришел поздно.

Поздравил Романа не по-фронтовому тучный Тимофей Григорьевич Горохов — дядька Тимофей, пакостный ругатель и золотые руки младший сержант Васин, большеголовый и ушастый лекарь Семен Назарович Липатов, ужасно конопатый рядовой Коломиец. У загородки, разделявшей сарай на кухню и апартаменты старшины — продуктивно-вещевую каптерку и канцелярию одновременно, где готовился пир на весь мир,— восхищенно пялились на Пятницкого седоусый ездовой Огиенко, повар Бабьев, по летам, скорее всего, не повар, а поваренок, и сухой, подслеповатый на один глаз писарь Курлович. Они уже давно, правда самым благопристойным образом, мозолили глаза капитану Будиловскому. Получив наконец разрешающую улыбку, принялись от души выдергивать Пятницкому руку из плеча.

Столу мог позавидовать владелец поместья Варшлеген: офицерские допайки в виде печенья и американской колбасы в жестяных баночках с приспособленными к ним открывашками-раскрутками, раздетые догола луковичные репки в суповой тарелке, две стеклянные банки консервированной индюшатины — сбереженные старшиной трофеи первых дней наступления в Восточной Пруссии — и полуведерко горячей картошки, обсыпанной для духовитости сушеным укропом.

Капитан Будиловский дождался, когда все рассядутся. Он был благодушен, легок сердцем и сказал с торжественностью, которая была понята так, как и следовало понять:

— Товарищи солдаты, сержанты и офицеры, давайте выпьем в эту богом дарованную минуту за нашего боевого товарища, за его награды...

Он еще хотел что-то сказать, люди ждали, но он оборвал себя и высоко поднял вычурную, звеняще тонкую, богатого сервиза фарфоровую чашку.

Предусмотрительный Степан Данилович поторопился внести поправку:

— Давайте попеременно: поначалу за орден, потом за отважную медаль.

Выпили за орден, выпили за медаль. «Теперь в самый раз бы за справку»,— подумал Пятницкий, но решил, что справка — его сугубо личное дело, и по праву поздравленного виновника торжества вздернул вверх свою чашку:

— За нашу победу, за то, чтобы все мы... победили.

Нескладность тоста была прощена. На самом деле, зачем слова, которые хотел сказать лейтенант и не сказал, которые и не помешали бы... Но что толку! Сколько ни желай вернуться живым и здоровым, сколько ни клацай чашку о чашку — с водкой ли, с вином ли самым что ни на есть заморским,— не все останутся живыми, не все вернутся здоровыми. За победу — это да, победу будут добывать и мертвые.

Среди старшинских шмуток разыскалась рогозинская шестигранная гармоника. И вот оно — нет войны, сидит Роман в натопленной комнате, наслаждается песней из репродуктора, принюхивается к аромату из кухни, где стряпает мать, и никак не решит — куда сегодня податься: на танцы в клуб или завалиться с книгой на диван? Мечтательной довоенной картины не

рушил гул войны: он походил на гул завода, от которого до дома — рукой подать.

Андрей Рогозин спел фатьяновскую «Я знаю, родная, ты ждешь меня, хорошая моя». С каждым куплетом Василий Севостьянович менялся на глазах — мрачнел, обугливался. Когда притих последний вздох концертино, Будиловский стал прежним — обрюзгшим, постаревше-рыхлым. Степан Торчмя завозился, запоглядывал на писаря — не наскребет ли тот чего по сусекам, чтобы развеять крученую морочь. Курлович поднялся было, но Будиловский пересилил маету, решительно придавил ладонью поверхность стола:

— Хватит, друзья. Теперь — о главном.— И он сказал об этом главном: — Послезавтра переходим в наступление...

Говорили о порядке подвоза снарядов (Коломиец— весь внимание), о доставке пищи (начальственный перст погрозил в сторону Бабьева), о раненых (выразительный взгляд на Липатова), о запасных катушках связи, о срочной замене, кому надо, валенок (Тимофей Григорьевич щитком выставил ладошку: дескать, уже, уже...), о канистрах с бензином, о починке, в случае беды, пушек («Одними матюками тут, Васин, не отделаешься»), о гранатах по пяти штук на рыло («Не к теще на блины едем, с пехотой, огнем и колесами»), о противогазах (с собой таскать или побросать на хозмашину). Все обговорили.

Напоследок Будиловский сказал:

— Предусмотреть замену, если кто выйдет из строя.

Несколько ошеломленный переменой в застолье, Пятницкий в недоумении поднял брови: как это выйдет? из какого строя? что, в колонне пойдем?

— Если что случится со мной, батарею примет Пятницкий,— продолжил Будиловский.

Не сразу дошло, о каком выходе из строя идет речь. О себе решил: надо сказать Кольцову, заменит, если что. Но мысль из-за последней фразы Будиловского получилась неловкой.

Когда Кольцов заменит? Когда из строя выйдет капитан и он, Пятницкий, возглавит батарею или когда его самого не станет и взвод надо будет принимать Кольцову?

Настроение Пятницкого расквасилось. Андрей Рогозин выразительно посмотрел на Васина, хватанул на своей смешной гармошечке плясовое-развеселое. Васин лихо вздернул голову и загорланил первое, что попало на язык:

Сы-лов	не	выки-нешь	из	пъесни,
В		батареи-и		гов-воят,
Так	си-ильней	по	ньемцу	тыресни,
Читоб усрался ньемец гы-ад!				

Старшина Горохов устрашающе пообещал Васину:

— Язычок у тебя... Завяжу у сонного в два узла.

— Чинно бы,— поддержал Степан Торчмя.

Васин посерьезнел, застегнул верхние пуговицы гимнастерки.

— Все, дядька Тимофей, отоспались.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

От сектора наблюдения Пятницкого вправо на сорок километров и влево на то же расстояние окопались в позиционной готовности полки и дивизии пятой, двадцать восьмой, тридцать первой и второй гвардейской армий, а за их спиной, как стрелы в натянутой тетиве, с иголки одетые и до нормы укомплектованные войска одиннадцатой гвардейской армии, двух танковых корпусов, артиллерийских частей РГК, инженерные и другие вспомогательные войска. Но забота Пятницкого не об этих войсках, не о силе, которая противостоит им, его ума дело — вот этот кусочек земли перед Альт-Грюнвальде с изломистыми морщинами немецких окопов и охранными горбами их огневых точек — полоска, где он за время стояния в обороне успел разведать двадцать девять целей, завести на эти цели документацию, рассчитать координаты, дотошно, час за часом, описать их действия. Право, не хватало только анкетных данных тех фрицев и Гансов, что приставлены к этим двадцати девяти дзотам, наблюдательным пунктам, пулеметным площадкам, огневым позициям противотанковых орудий.

Пятницкий уже видел в этих объектах некую собственность, личное движимое и недвижимое имущество, и было странно, что наступит час, и он с величайшим воинским рвением станет ломать, рушить это движимое и недвижимое, кромсать с размахом всех знаний ведения артиллерийского огня, иначе славяне Игната Пахомова не успеют сделать того, что надо сделать на этой войне, а если повезет, то и после нее, иначе несдобровать ему самому и его славным пушкарям.

В этом видел Пятницкий одну из важнейших задач всего комплекса управления кусочком войны, возложенную на командира взвода управления артиллерийской батареи. За ней последуют другие задачи: выбор нового НП, обеспечение связи, разведка новых целей и беспощадное подавление этих целей.

Одним словом, работа с утра тринадцатого января виделась предельно четко, и это видение, понимание предстоящего дела наливалось силой, непоколебимой верой в свою способность действовать в высшей степени толково и грамотно.

Нет, не от одного желания выругаться, очистить сердце назвал не так давно генерал войну стервой. Ясно видимое, по полочкам разложенное, выверенное этап за этапом стало рассыпаться еще накануне, а утром тринадцатого января вообще полетело к едреной матери. Разведанные цели пришлось сдать незнакомому старшему лейтенанту из корпусной артиллерии. Полюбовавшись на все движимое и недвижимое Пятницкого, старший лейтенант расписался в карточках целей, дескать, принял, все в порядке и пожал Роману руку. Офицер был старше не только по званию: по тусклому лицу молодого лейтенанта он прочитал все, что творилось в его задетой душе. Прочитал, понял и положил руки на плечи Пятницкого.

— Первые твои? — спросил.

Роман тоже понял его и ответил.

— Первые.

Умный был мужик этот старший лейтенант — не усмехнулся, даже не позволил себе пошутить. Вынул из кармана зажигалку — не зажигалку, мечту трофейную — пистолетик вороненый.

— Возьми.

— Не курю,— смутился Роман.

— На память о встрече и... первых твоих.

— Возьму,— протянул руку Роман, и стало легче на сердце. Забыл спасибо сказать. Сказал, когда прощались.

Ну а утром тринадцатого не помогло бы никакое душевное-раздушевное слово...

Снежная завируха началась еще ночью. Попервости она обрадовала. Седьмая батарея, оставив обжитые огневые, где стояли долго и затаенно, успела передвинуть свои орудия вплотную к позициям пехоты. Будиловский взял на себя первый огневой взвод, со вторым приказал следовать Пятницкому. Сказал:

— Всю училищную науку, лейтенант, побереги до лучших времен, а пока действуй по обстановке.

Действуй... Как действовать? Завируха продолжалась. К началу артподготовки стало похоже, что тебя с головой окунули в сугроб.

Артмастер Васин, присоединившийся к Пятницкому согласно боевому расчету, не находил слов.

— А-а, в господ... Сто редек ему в рот...— дальше следовало такое богохульство, что не отомлить его Васину до гробовой доски.

Естественно, артподготовка шла вслепую, авиации не дождались. Когда пехота по скользким приставным лесенкам выкарабкалась на бруствер и гаркнула «ура» (разве смолчишь, когда душа реву просит, а в этой обстановке лучше бы молчком), ее встретила такая пальба, что, казалось, свело руки и ноги. Но шли. И вот уже не видно никого, муть сметанная. Открывать огонь? А если в спину славянам? Тогда, братва, поднавались на колеса — и вперед, вперед!

Пятницкий ухватил за веревочную петлю ящик со снарядами, рядом вцепился Шимбуев — низкорослый солдат с маленьким подвижным лицом — потянули, поволокли следом за пушкой. Сержант Горькавенко кричит: «Навались!», матерится, зло и раздраженно хрипят другие. В снежной ветродури сгинула пушка Вальки Семиглазова.

Приостановилось движение у Горькавенко. Там полный ужаса крик. Сгрудились, зовут Липатова. Липатов в первом взводе, поди докричись. Что делать? Не бросать же раненого, ему помощь нужна. Выходит, двое из расчета — долой? Где взять сил остальным для пушки?

Вдруг из пурги вынырнула дивчина, похоже, пехотная, занялась перевязкой.

— Сисенбаева в живот прямо! — прокричал надсаженной глоткой подбежавший младший сержант Васин. Это он было остался с раненым.

Пятницкий невольно передвинул набитую книжками полевую сумку на живот. Это ужасно — когда в живот...

Наткнулись на лежавших, заметенных снегом солдат. Роман подумал — убитые. Нет, стреляют. Куда стреляют? А так, перед собой, в непроглядь.

— Чего завалились?! — закричал употевший, растерянный Пятницкий. — Вперед! Где командир?

Из снега вытряхнулся пожилой усатый сержант.

— Чего орешь, лейтенант? Я командую, убит взводный.

— Так чего вы развалились? Вперед надо!

— Куда, может, покажешь?

И правда — куда? Роман крутнул головой. Не поймешь, откуда, с какой стороны двинулись, где восток, где запад? Нет, вон темь полосой — деревья вдоль дороги, а дорога туда, в Альт-Грюнвальде.

— Орудие к бою! — закричал, рванул крышку ящика, сунул в чьи-то руки снаряд, — Горькавенко, командуй! Огонь, огонь по захватчикам! Прицел...

О, гадство! Какой прицел? Что делать? И чуть не прыгнул от радости, от светленькой мысли. Поле, изученное им с НП, идет чуть на подъем. А что, если... При малом прицеле угол падения... Должен быть рикошет! Должен!

— Горькавенко! Прицел четыре! Четыре! Понял? Отражатель проверь, на нуле чтобы! Колпачки не снимайте!

Ничего, лейтенант Пятницкий, еще малость соображаешь, не все пургой выдуло!

Грохнуло орудие, завыл снаряд, отскочивший от мерзости, разорвался, рассыпался, как бризантный, в воздухе. Загудело в груди от восторга. Получился рикошет, не обманулся Пятницкий!

— Беглым, Горькавенко, беглым! — закричал обрадованно. Стал Коркину кричать, чтобы стреляли на прицеле «четыре» фугасными.

Лупануло в беспросветности другое орудие — слева, где младший лейтенант Коркин. Услышал Коркин, сообразил Коркин, молодец Витька Коркин, тоже на рикошет повел!

Поутихли огненные трассы со стороны немцев. Хорошо, видно, обсыпали их сверху стальные обломки! Пятницкий выхватил пистолет, вскинул на всю руку

— Сержант, поднимай пехоту! За мной! За Родину! За Сталина!

Солдаты поднялись без особого рвения, засеменили в пуржистую гущу, заспешили за горластым лейтенантом, Шимбуев рядышком побежал.

Заговорило вдесятеро больше стволов. В упор. Начали шлепаться и мины, осколками повизгивать. Солдаты попадали. Кто насовсем, кто так. У Пятницкого шапку козырьком к уху повернуло. Оступился в канавную глубь, плюхнулся кулем, шапка свалилась.

Выходит, не только фрицев, но и просто снег обсеивал на рикошетах? Вскочил разъяренный.

— Вперед! За мной!

Усатый сержант грубо толкнул его под прикрытие толстого осокоря.

— Какого хрена колготишься, лейтенант! Людей побьем. Остынь, говорю!

От бессилия, унижения, обиды навернулись слезы. Сержант поднял шапку, подал. Из дырки вата торчит. Сказал примирительно:

— Погодим малость, должно развиднеться. Видишь, что творится? Встряхнись же, не то пуля вот такого-то быстро сыщет.

Пятницкий прислонился к осокору, задрал голову, от пуль не прячется. Шимбуев дернул за шинель, стащил в канаву.

Скоро муть разжижела. Плохо, но видно стало темную горбину впереди — сады немецкого поселка. Завиднелось орудие Семиглазова, кляксами стали проявляться два других. Пехоты побольше подсобралось: кто зарвался вперед — спятился, кто отстал — подтянулся. Подошел «студебеккер» со снарядами, видно, Будиловский сумел организовать.

Разгружались торопливо, с некудышно упрятым раздражением на громадину «студера», припершегося на самый передок, на шофера Кольку Коломийца, который, выискивая немцев, крутил башкой — будто первый день на фронте. Горькавенко не выдержал, прикрикнул на Кольку:

— Помогай, холера тебя возьми! Сожгут твою колымагу!

В строптивости Колька мог и не обратить внимания на окрик, но поблизости грохнули четыре мины, у «студера» паутиной разнесло лобовое стекло и вырвало щепки из дощатых ребер кузова. Спесь с Коломийца враз сбило.

Пятницкий хотел было побежать к комбату, переговорить, как и что делать дальше, но тот не позволил, выслушал вопросы по телефону, дал советы и сообщил, что в первом огневом взводе ранило двоих. Наводчика Баруздина тяжело, пожалуй, не выживет, а Рогозину только щеку располосовало...

Скрутило мышцы Пятницкого зябкой судорогой, заныло в груди, от прилившей бешеной крови в голове пошел гул. Андрея ранило! Еще Баруздина... Шагов на триста продвинулись, еще боя, по сути не было, а троих уже нет. Если так дальше пойдет... Кретин несчастный! «Вперед! За мной!..» Не шапку надо было, а башку твою неразумную продырявить!

— Коркина пришли сюда,— давал указания капитан Будиловский,— вторым взводом сам покомандуешь. Разведчиков при себе держи, обеспечение связи возьму на себя. Понял, лейтенант?

Все понял Пятницкий, с трудом, но понял. Без труда тут не сразу поймешь. Андрея изуродовало, Баруздин, сказали, не выживет, у заряжающего Сисенбаева рана тоже не из легких.

К аллее дорожных осокорей подошли три самоходки.

Рослый офицер в раскрыленной плащ-палатке, издерганный неудачными атаками, блажным голосом кричал на самоходчика:

— Ни минуты промедления! Пехота за вами пойдет!

Самоходчик пытался что-то втолковать ему, до слуха Пятницкого донеслось только:

— Это не танки, поймите...

Никакие доводы, похоже, не действуют, глух к ним; тот, в плащ-палатке, глушит сознание, что лежит пехота.

— Не празднуйте труса, капитан! — бьет по самому чувствительному.— Вперед, развернутым строем!

Перекосило всего, налило злобой капитана, да не тот у него чин, чтобы одолеть налетевшего, вернуть ему благоразумие. Делает последнюю попытку:

— Разрешите хоть одному орудию задержаться, прицельно с места поддержит.

Эта попытка настоять на более разумном еще больше взбесила пехотного командира, стал размахивать кулаком.

— Никаких с места! Полдня царапаемся на месте! Вперед!

Пятницкий возбужденно встряхнулся, закипел жадой действия. Расстегнул давивший на горло крючок полушубка, сиганул через кювет, через другой, запинаясь о спрессованные гусеницами выворотни снега, побежал к самоходкам.

— Товарищи, минутку! — задыхаясь, выкрикнул он и едва не ударился о броню урчащих, подрагивающих в боевом нетерпении САУ.— Подождите малость!

Дюжий, внешне напоминающий Игната Пахомова, измученный и красный лицом офицер в плащ-палатке ошалело посмотрел на возбужденного Пятницкого.

— Это что за явление Христа народу? С самоходки? Почему удрал с машины?

— Я не с самоходки. Пушки... сейчас подтащим...

— В-вон отсюда! Пришибу! — остервенел большой начальник, в лицо Роману брызнуло слюной. Может, и не слюной, может, талый снег слетел с рукава... Роман уцепился за полушубок капитана самоходчика.

— Пять минут. Хоть одну пушку перетащу через дорогу. Поддержим, прикроем...

Капитан досадливо отмахнулся:

— Нам ли с тобой решать тут!

Капитан бешено посмотрел на пехотного чина и, чуть задев траки, перекинул тело через бортовую броню. Подтянув шлем с наушниками, что-то неслышное крикнул вниз механику-водителю.

САУ-76, такие же, как и у Пятницкого, семидесятишестимиллиметровые пушки, только на собственном ходу и прикрытые кое-какой броней, загуркотали моторами и, отдаляясь друг от друга, взрыхлили, подняли россыпью снег, для бодрости хлопнули выстрелами и помчались на Альт-Грюнвальде. Солдаты — в Христа, в бога! — отпрянули, давая проход, устремились следом.

Поднялась пехота и по эту сторону дороги. Велением Будиловского заговорили орудия седьмой батареи (и там и тут обошлись без него!). Загудела дальнобойная артиллерия — теперь уже по глубине обороны противника. Полковые и батальонные пушки палили без передыху, стараясь помочь безрассудно брошенным вперед самоходным орудиям. Да разве можешь! Одна установка уже горела, ветер рвал с нее маслянистые шлейфы дыма, мешал со снегом. Две другие, едва видные в снежной мути, проскочили все же до Альт-Грюнвальде, успели сделать несколько выстрелов и загорелись там, на околице.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Ординарец командира батареи Степан Данилович Торчмя, ухватив внушительными лапищами за щиколотки кем-то разутого гитлеровца, кряхтя и посапывая, задним ходом тянул его из блиндажа. Труп не успел окоченеть и податливо выволакивался из узкого входа в не менее узкую и глубокую

траншею. Заметив за изгибом на ближней прямизне окопа лейтенанта Пятницкого, Степан Данилович без околичностей попросил:

— Владимирыч, помогите эту пададь через бруствер кинуть.

Роман не хотел прикасаться к неживому телу и ухватился за полы задравшейся шинели. Но из этого ничего не вышло — с трудом удалось поднять едва до половины окопа. Надо было перехватиться, а чтобы перехватиться, пришлось подставить под труп колено. Производя эту малоприятную работу, Пятницкий едва не уронил ртутно тяжелое тело. Напрягшись, переместил руку на лацканы и резко поднял омерзительный груз вверх. На мертвеце затрещало, на дно окопа выронилось содержимое карманов. Наступая на упавшее, Пятницкий и Степан Торчмя столкнули тело под откос бруствера, к меже с гривой промерзшей травы. Перевернувшись со спины снова на спину и собрав на себя снежный нанос, оно осталось лежать в ожидании, когда вот с таким же чувством гадливости кто-то из похоронной команды отволокет его к небрежно вырытой яме и свалит труп для вечного забвения.

Степан Данилович ковырнул носком сапога оброненное мертвецом, поднял, разглядывая, проворчал:

— Славяне... Обувку сняли, а на портаманет не обзарились... Добрые у них сапоги, только вот голяшки твердые делают... Сапоги — конечно, а портаманет на што. Облигации, што ли, там выигрышные? — складной карманный портфельчик висел загибом на его пальце, как патронташ. Степан Данилович хмыкнул, довольный своей остротой, и весело покосился на Пятницкого.— Может, и облигации, только какая сберкасса за них заплатит. Вам не надо эту трофею, Владимирыч?

Желание узнать о немцах что-то новое, чего не знал до этого и что может оказаться в этом бумажнике, взяло верх над безразличностью. Роман принял изрядно потертый бумажник из кожзаменителя, покопался в нем и не нашел ничего привлекающего. Только фотография с посекшимся по диагонали гляncем задержалась в его руке. С настороженным любопытством, будто подглядывает чужое, он смотрел на семейную фотографию: в кресле молодая женщина в темном платье с белым кружевным воротником, на ее коленях — пухлощекая девочка с бантом в жиденьких волосиках, года два девочке, не больше; рядом, вытянувшись и выпучив глаза в усердии, мальчик лет десяти, рука, как воробьиная лапка, сжимает подлокотник кресла.

Обычность фотографии поразила Романа — будто обманули его, подсунули не то, что ждал. Что в ней немецкого, вражеского? Такие у всех есть, и у него тоже. Вместе с Настенькиной хранится. На карточке той — папа с мамой, а в центре он с оттопыренными ушами, в матроске и бескозырке с надписью на ленточке — «Моряк».

Похожесть запечатленной на фотографии чужой и враждебной жизни на его, Пятницкого, жизнь заставила возмутиться: «Нечисть фашистская, а тоже... Фотография с деточками...» Но фотографию не бросал, разглядывал и в конце концов как-то иначе глянул на детские лица. По инерции в уме еще потянулось презрительное: «Фа-ши-сти-ки...», но приглохло. Неразумный ты, лейтенант Пятницкий, какие они фашистики! Пацаны и пацаны, и носы сопливые им, сдается, вытерли, когда сниматься повели.

Степан Данилович приблизился и тоже посмотрел на фотографию.

— Интересно, кем вырастут без отца-то? А, Владимирыч? Неужели такими же? — спросил Торчмя, бросая взгляд за реку, где вдоль обрывистой кручи занял оборону противник.

— Какими — не знаю, Степан Данилович, но чтобы после войны фашисты верховодили — этому не бывать.

— Как это? Германию присоединим?

— Мы не захватчики, на черта она сдалась. Коммунистов, которые в концлагерях, освободим... Они вправят мозги тем, кто от Гитлера да Геббельса угорел, откроют людям глаза и начнут разумную жизнь налаживать...

Помолчали.

— Разыскать бы этих пацанят лет через десять.— Роман повернул фотографию оборотной стороной.— Имена и фамилия есть, город... Кажись, Кройцбург написано.

— Где такой?

— Здесь, в Пруссии. Может, и его брать будем.

— Возьмем. Не убили бы только до этого,— вздохнул Степан Данилович,— охота дожить до победы, Владимирыч. Наплевать мне на этих гансиков из Кроцбу... тьфу... Мне бы со своими пожить еще. Пять дочек у меня, Владимирыч.

— Одни дочки? — удивился Роман.

— Одни дочки, сынов, как в старину говорили, бог не дал. Видно, природа такая. У нашего агронома и вовсе... Шесть девок, а он: «Костьми лягу, Данилыч, а сына произведу». Супруга его седьмым затяжелела и опять произвела дочку. Так вот,— засмеялся Степан Данилович.— Дочки — тоже неплохо. У меня вон какие! Клавдия, средняя, тебе в невесты годится. Приезжай, Владимирыч, такую свадьбу завинтим!..

Сказанное Степаном Даниловичем заставило Настеньку вспомнить, услышать тоскливо занывшую душу. Пятницкий сунул фотографию в планшетку, портмоне отдал Степану Даниловичу. Тот заглянул в бумажник, повторил свою шутку:

— Нету госзайма? Ну и ладно. Приберу.

Пятницкий, давая отдых набрякшей голове, охлаждая затылок, откинулся на бруствер и закрыл глаза. Степан Данилович скосил на него глаза. Осунулся-то как! Вздохнул и посмотрел в сторону выброшенного ими трупа. Тихий низовой ветер шевелил давно не стриженные кудельные волосы мертвого, засыпал в раковины ушей обдув полыни и донника с межевой гривки.

Степан Данилович зло швырнул бумажник в сторону немца, плюнул и, утираясь рукавом, буркнул:

— Отвоевался, скотина безрогая...

Блиндаж для капитана Будиловского и командира взвода управления Пятницкого Степан Данилович облюбовал вполне сносный, хотя и не очень поместительный. Строили блиндаж немцы и, разумеется, в своих интересах. Захваченный наступающими, он оказался теперь выходом к противнику. И ничего тут не сделаешь. «Повернись сюда задом, туда передом»? О, как бы он порадовал, подчинившись этой просьбе-приказке!

Пятницкий критически пощурился на приобретенное жилье, оттопыренным большим пальцем ткнул через плечо:

— Все, что прилетит оттуда, — прямо в дверь.

Степан Данилович покачал головой:

— Страсти господни! Как все наперед знаете. Прилетит... Чисто ворожей, — но все же призадумался и чуть погодя добавил: — Если прилетит, дак всюду достанет. — Он поводил глазами — нет ли кого поблизости, не услышат ли того, что для всех говорить не хотелось, и доверительно сообщил: — Лейтенанта Совкова, заместо которого вас прислали, знаете как убило? И блиндаж где надо отрыт был, и не чета этому — три наката, а мина возьми и шмякнись в бруствер напротив входа. Комбат с Совковым обедали. Все железо в лейтенанта, комбату только руки покарябало да похлебкой окатило. Он поглыбже сидел... Да вы не пужайтесь, Владимирыч, не может того быть, чтобы в одной и той же батарее лейтенантов одинаково убивало. Да и не замешкаемся здесь, ноне же дальше двинем. Коли потурили фрица — остановок долгих не будет. Хоть ночку в тепле побудете, небось иззяблись совсем. Григорьич, старшина наш, скоро горяченького поить пришлет, фляжку с наркомовской... Я землянку мигом приберу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Уютный и надежный подвал с корытообразным потолком в Йодсунене оставили еще тринадцатого января, когда начали прорыв обороны противника. Снегопад, ожесточенное сопротивление немцев, ничем и никем не восполняемые потери затрудняли продвижение, и оно шло черепашими темпами. Гумбиннен, шпиль ратуши которого хорошо просматривался с НП Пятницкого в Йодсунене, взяли только двадцать первого, двигались по километру в сутки. Сегодня опять уткнулись в препятствие — реку Алле, один из мощных рубежей укрепрайона «Хайльсберг».

Степан Торчмя подобрал для комбата оставленный немцами небольшой блиндаж. После обхода огневых (как они там устроились?) Будиловский пришел усталый, мрачный. Ели, сидя на земляных нарах. Пятницкому, решившему переночевать у комбата, досталось место напротив входа, капитану — «поглыбже». Подумал: «Хозяин что чирей, где хочет, там и сядет. Залетит черепок мины — и будь здоров лейтенант Пятницкий». Уловил придавленность Будиловского собственным душевным разором и устыдился своих мыслей. Нарочно, что ли, сел туда! Вошел первым — вот и сел.

В блиндаж просунулся Степан Торчмя. Обращаясь к Будиловскому, попросил:

— Вышли бы, Севостьяныч. Одеяла застелю. Я их хорошенько выхлестал, чистые.

Выйти действительно надо было, втроем — повернуться негде.

Пока Степан Данилович обихаживал место для сна и устраивал в нише картонные площадки-светильники, Будиловский с Пятницким стояли в траншее и смотрели за реку, где будет новый бой, до начала которого осталось совсем немного.

С пугливой издерганностью противник швырял в небо ракеты, заливая стылую реку неестественным мертвым светом, и он выхватывал из мрака примагниченные ко льду фигурки трупов. Когда немцы замечали движение

санитаров, что отыскивали не успевших окоченеть товарищей, пулеметная стрельба учащалась.

Наша пехота, измотанная дневным продвижением, на нервный и суматошный огонь из-за реки отвечала нехотя.

Поеживаясь, Будиловский сообщил, что место для закрытой позиции выбрали сносное, пушки вот-вот установят, и поинтересовался, как дела у разведчиков, будет ли готов к рассвету наблюдательный пункт и нет ли возможности заблаговременно пристрелять батарею. Пятницкий понял это по-своему и сказал:

— Чуток передохну — и обратно.

Вялые думы Будиловского смешивались с чем-то далеким от того, что спрашивал, но ответил Роману по сути, хотя и нудно:

— Нечего сейчас делать на НП, лейтенант, Кольцов управится. Ложись поспи, впереди дел — во! — он провел ребром ладони ниже подбородка.— Речку штурмовать будем.

Другой какой военный термин тут не подходил. Действительно — штурмовать. Пятницкий успел познакомиться с этой — будь она проклята! — речкой под названием Алле. Предвидя неизбежность отступления в глубь страны, немцы заблаговременно превратили ее в неприступный на первый взгляд оборонительный рубеж. Особой надежды окончательно остановить наступающие советские войска они, может, и не питали, но на то, чтобы задать трепку, пролить побольше крови, все возможности у них были: понастроенные по кромке берега доты огнем пулеметов способны выкосить перед собой все живое. Обрезанную водой кручу опутали несколькими рядами колючей проволоки, увесив ее, как новогоднюю елку, противопехотками, а там, где можно ступить ногой, уложили, присыпав землей и снегом, нажимные, натяжные и другие убойные выдумки, вплоть до «шпрингенов» — мин-лягушек.

Попытки захватить железобетонные сооружения с ходу кончились тем, что стрелковый полк усеял трупами не очень прочный речной лед и, обескровленный наполовину, откатился и залег в кустарниках заливного берега. Поняв, что такое лбом не прошибешь, командование наступающих войск решило до утра пошевелить мозгами и придумать более эффективное и менее болезненное. Будиловский с Пятницким тоже изнурялись думками и сошлись на том, что было бы здорово вытянуть пушки на прямую наводку. Определив место для орудий, Роман с комбатом вернулись в блиндаж. Котелок с углями, добытый заботливым ординарцем, ласкал теплом, а водянисто потрескивающие площадки и горячее хлебово из общей посуды приглашали к доверительному разговору.

Роман Пятницкий кое-что знал о своем командире. Учитывая обстановку, короткий срок совместной службы и замкнутость этого человека, можно считать, что кое-что — уже немало. То обстоятельство, что Василий Севостьянович недавний учитель, больше того, директор школы, если и не вызывало глубокой уважительности в силу вот этой отчужденности, то почтительную робость, знакомую со школьной скамьи, вызывало обязательно: понуждало постоянно чувствовать разделенность, возрастную, образовательную, иерархическую дистанцию. Поэтому все, что придвигало их

друг к другу — услуги одного ординарца, пища из одного котелка, совместные заправки водой из проруби и житье в землянках,— смущало Пятницкого, вызывало чувство неловкости.

В данный момент дистанция сократилась. Но стоило Будиловскому поинтересоваться тем, что, по мысли Пятницкого, уже было известно, как разделенность ощутилась прямо физически.

— Десятилетку закончил, потом работал немного,— бормотнул Роман на вопрос об учебе.

— Ты с Урала вроде? — устало и, кажется, опять без нужды спросил Будиловский.

— Из Свердловска,— ответил Пятницкий.

Нет, не без нужды спросил Будиловский. Это был примитивный, но нужный к разговору ключик.

— А я из Гомеля. И жена оттуда,— он отрывисто вздохнул, поморгал белесыми веками сухих глаз, горько дернул уголком губ и добавил: — Была...

— Что, погибла? — обеспокоенно и неловко спросил Пятницкий.

Увязая в тягостных мыслях, Будиловский выдал:

— Лучше бы...

По лицу Василия Севостьяновича мелькнула нервная тень. Пятницкий поежился, примолк, ложка зависла на полдороге, с нее капало. Будиловский, без желания черпавший из котелка, привалился к дощатой стенке блиндажа, изорванной осколками противотанковой гранаты.

— Жениться-то не успел, лейтенант?

И это был ключик, предлог к развитию разговора. И тоже не заранее подготовленный. Такое проявляется, когда на душе скребет и хочется выговориться.

Роман смутился. Скажет тоже — жениться. Когда? На ком? На Настеньке? Совсем неразумно, она же.. Семнадцати нет. У Романа тоскливо и сладко ворохнулось в груди. Виделись-то несколько раз, а пишет и пишет... Милая, славная Настенька... Показать Василию Севостьяновичу письмо?

Лицо комбата отражало совсем иные мысли, далекие от всего, что происходит за пределами блиндажа на изрытых окопах то морозно твердеющих, то раскисающих полях и на всем белом свете с его трагической событийностью последних лет. Что уж тогда говорить о душе лейтенанта! Сердечный порыв Пятницкого был явно не к месту, и рука, нацелившаяся было сунуться в полевую сумку, крепче сжала черенок ложки. Роман сильно и неловко смутился.

— Значит, не женился,— хрипловато заключил Будиловский.

В слабом колеблющемся свете стеариновых плашек его лицо показалось неузнаваемо постаревшим. Может, и не постарело, увяло просто, стало таким, каким становится, когда тяжело бездомной душе.

— Ну, тогда еще женишься. И дай бог тебе сойтись с человеком безошибочно верным...— на губах Будиловского шевельнулась прежняя мучительно скованная усмешка. Продолжая свою мысль, добавил: — Сойтись с человеком, которого не надо умолять и упрашивать: «Жди меня, и я вернусь, только очень жди». Человек, которого надо упрашивать быть верным, не стоит того, чтобы его упрашивать.

Что творилось в душе Василия Севостьяновича? Еще там, под Гумбинненом, когда стояли в обороне, накатилась на Будиловского вот эта давящая печаль, которая, в силу житейской неумудренности Романа, принималась им за сумрачность и иные производные скверного характера. Тоску, уязвленное чувство любви, боль ревности эгоистичная молодость считает своей монополией. Не под силу ее незрелому разумению отнести подобное к человеку в возрасте Василия Севостьяновича.

А как раз эти чувства и владели теперь капитаном Будиловским. Невысказанные, затаенные, были они мучительны и неуправляемы. Высказаться, ослабить сковавшую угнетенность?

Уловив смущение Пятницкого, Будиловский неожиданно сделал то, что мгновение назад порывался сделать Роман,— вынул из кармана вчетверо сложенный тетрадный листок.

— Почитай, лейтенант, может, скажешь что...

Глаза Будиловского были раздраженные, злые. Словно Роман хотел узнать что-то запретное о нем, и будто Василий Севостьянович уличил его в этом желании и теперь с грубой мстительностью — на, смотри! — распахивал это запретное.

Пятницкий нерешительно протянул руку. Будиловский быстро сказал:

— Письмо жене... почитай,— и, похоже, боясь передумать, сминая листок, сунул его в руку Пятницкому.

Когда Роман стал недоуменно и робко расправлять исписанную карандашом бумагу, Будиловский смягчил тон, приглушенно пояснил:

— Уже и не помню, сколько вот таких написал... Писал и не отправлял. Это — отправлю...

Роман не сразу вник в смысл написанного. Речь, по всей видимости, шла о сыне Василия Севостьяновича, который потерялся или погиб и которого он по многим, не зависящим от него, причинам не смог спасти. Было не очень понятно — оправдывался или просто хотел объяснить Василий Севостьянович, как все получилось. Он подробно описывал бомбежку, десант немецких парашютистов, срочный вызов в военкомат. Роман, вчитываясь в малоразборчивые строки, вплотную присунул к потрескивающему огоньку с гибким восходом дымного хвостика. Будиловский прервал его замедленное чтение прикосновением руки, хотел сказать что-то, но, раздумав, утяжелил прикосновение и буркнул:

— Читай. Потом...

Письмо заканчивалось:

«Наше общее горе ты считаешь только своим и виноватым видишь только меня. Это жестоко и несправедливо. Может, такое нужно тебе, чтобы с меньшими угрызениями думать о том, что сделала? Да, это упрек, но он — последний. Скверное предчувствие неизбежной смерти не покидает меня. А завтра бой... Малодушие? Вполне возможно, но это не очень похвальное человеческое качество рождено другим — неизлечимой любовью к тебе, любовью, жестоко обманутой. Все прощаю. Прощай».

Пятницкий дочитал, растерянно пожевал губы. Надо было как-то и чем-то ответить на неожиданное, поразившее его откровение комбата. Пятницкий ожидал встретить сожалеющую ухмылку (нашел перед кем раскрыться!), но

встретил подавленный взгляд, увидел мелкие морщины у глаз, собранные нетерпеливым ожиданием ответа, и проникся жалостью, хотелось сделать что-то для этого страдающего человека. Заговорил медленно, проникновенно:

— Василий Севостьянович, не мне судить о том, что вы пишете. Да и мало что понял. Но вот,— в голос Романа вплелись мягкие нотки упрека,— но вот о гибели, право, совсем ни к чему...

Возможно, Будиловский не расслышал всего, приступ откровенности продолжался:

— У Нади большое сердце. Врачи запретили рожать, а она хотела и родила, и едва не померла при этом... Последний год жили в Слониме, война застала нас в разных местах: меня — дома, Надю — в Минске, сына... Ему девять исполнилось. Алеша был в пионерском лагере. В первый же день лагерь вместе с ребятами оказался у немцев... Я находился ближе к Алеше, но вывезти не смог. Этого тогда никто не смог. Надя не хотела понять: как так — не смог? Сам — вот он, а сын... Не дай бог тебе, лейтенант, когда-нибудь видеть ненависть в глазах любимой женщины... Меня направили в часть, Надя с райкомом осталась в лесу. Три года ничего не знали друг о друге, и вот — письмо... В Йодсунене получил. Надя счастлива, она снова с Алешей... Этот Алеша родился у нее от командира партизанского отряда...

Наступившее молчание нарушил Пятницкий.

— Н-не знаю, Василий Севостьянович... Нашлась, жива, счастлива... Когда любишь, наверное, радоваться надо... Чего ее винить. Война виновата. Были бы рядом — ничего бы этого не было. У нас вон соседка... Провинился муж, она топором его... Вылечился, живут...

Удивление, ироничную заинтересованность Будиловский выразил весьма неприметно — всего лишь приподнял бровь. Сказал со значением:

— Топор топор у рознь, лейтенант..

Скрытая ирония задела Романа, и он выпалил бесцеремонно и даже дерзко:

— Вы же мужчина, отец... На кого еще было ей надеяться?

Приподнялась и вторая бровь. Тон Романа, вероятно, возымел действие. Будиловский отреагировал виноватым голосом:

— Пойми же, лейтенант, обстановка такая была, не мог я вывезти Алешу.

— А сейчас другая обстановка. Вот-вот Гитлеру шею свернем. Может, Алеша ваш там, в неволе. Вот и надо отцу ради сына, ради всех... А вы жену смертью своей страшаете, себе в голову черт-те что неразумное... Порвите письмо, Василий Севостьянович.

Будиловский потер кулаком надглазницы, взял у Романа письмо и с непонятной интонацией произнес:

— Ладно, лейтенант... Слишком многое мы рвем поспешно... Погодим.— С последним словом он положил ладонь на колено Пятницкого и, словно забыв обо всем, что говорилось, спросил: — Не думал, как, чем или кем можно пушки к берегу подтянуть, на прямую наводку?

Может, за разговором он и впрямь отмяк душой? Пятницкий сказал после паузы:

— Думал. С младшим лейтенантом Коркиным советовался. Предлагает повозку Огиенко приспособить. Ну, как крестьяне плуги на пашню возят. Сошники к повозке веревкой прикрутим, в повозку — снаряды.

— Учитывая возможности старой кобылы,— вздохнул Будиловский,— более двух пушек не успеем, да и то при условии, что противник не обнаружит. А надо бы все.

— А что, может, и вытянем,— посветлел Роман от враз посетившей его идеи.— Вот схожу в батальон, а потом доложу вытянем или не вытянем.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Командирам рот батальона Мурашова и представителям поддерживающих средств велено было собраться на КП батальона в шестнадцать ноль-ноль. В назначенное время Пятницкий был уже там.

Оставив сопровождавшего разведчика Шимбуева у входа в блиндаж, Пятницкий протиснулся поглубже и лицом к лицу столкнулся с Игнатом Пахомовым. Тараща обрадованные глаза, Игнат облапил Романа «чугунными ручками» и с такой душевностью давил его, что затрещали швы полушубка.

— Ромка? Опять вместе? Пехоте-матушке штаны поддерживать?

— Что, пуговицы пооблетали? — улыбнулся Роман, освобождаясь от объятий Пахомова. Но тут же согнал улыбку, увидев изменившееся, ставшее злым лицо приятеля.

— Пооблетали, Ромка,— короткой хрипотцой ответил Игнат.— Видел на льду? Мою роту еще не так ужалило, а в других...

Роман поднял взгляд, хотел что-то сказать в ответ и не сказал. Не нужны тут слова. Даже самые-верные. Когда убивают людей, облегчающих слов нет. Только и сделал, что похлопал Игната по плечу. И уж потом обратил внимание на его погоны.

— Вчера приказом...— объяснил Игнат.— Опять у нас ротного ранило. Не сильно, правда, может, вернется.

Судя по дыркам в зеленом сукне, полевые погоны Пахомова еще недавно были капитанскими, возможно, принадлежали некогда командиру батальона Мурашову, теперь на них, изрядно мятых, неумелой рукой было пришпилено по одной звездочке.

Сколько же времени прошло, как встретился с сержантом Пахомовым? Офицер уже, ротой командует...

— Поздравляю, Игнат, поздравляю,— с искренней радостью сказал Роман,— обскакал ты меня. Пока до Кенигсберга дойдем — полк получишь.

Наконец собрались все. Командир батальона Мурашов коротко ознакомился с офицерами поддерживающих подразделений, уточнял их задачи, не забывая потрясти и своих командиров рот. Среди поддерживающих артиллеристов был даже командир взвода управления бээмовской системы — батареи двеститрехмиллиметровых пушек-гаубиц. Майор Мурашов, теребя картинные усики, с улыбкой сказал ему:

— Гляди, лейтенант, по льду не завали. Не то моим мужичкам через Алле вплавь придется.

Бээмовец принял эту полушутку и, не дожидаясь расспросов о его огневых возможностях, такой же полушуткой ответил и доложил одновременно, чем располагает:

— По льду, товарищ майор, мне нет интереса. В моем распоряжении всего пять снарядов.

— Пять? — не огорчившись, переспросил Мурашов.— Пять — это полтонны. Не так уж мало. Начнем — положи их чик-в-чик по второй траншее. Полную-то подготовку можешь, чтобы немцам сразу капут сделать? — И уже к Пятницкому: — У вас, лейтенант, как с боеприпасами?

— Хватит всю Пруссию перепахать,— с простодушной гордостью ответил Пятницкий, смутно догадываясь, что благо в виде двух боекомплектов свалилось на их батарею не от переполненности армейских складов, не от избытка там боеприпасов, а в силу каких-то высших соображений фронта.

Так оно и было. Придавая великое значение скорейшему выходу центральных армий фронта к морю, а значит, и расчленению Восточно-прусской группировки противника, командующий Третьим Белорусским фронтом выкроил из своих заначек несколько вагонов боеприпасов для этих армий, и толика их досталась седьмой батарее

— Перепахать-то хватит,— повторил Пятницкий,— только вот...

— Договаривай,— насторожил внимание Мурашов.

— Наши «зисы» там,— Роман показал затылком,— полтора километра до них, а для дела сюда бы надо.

— На прямую? Да я бы расцеловал тебя. Только куда на «студерах»? Всех гансов переполошишь,— усмехнулся Мурашов.

— На руках.

Мурашов досадливо отмахнулся:

— Это из области фантазии, лейтенант. В гору, по размазне?

— Одним расчетам, конечно... Пуп сорвут. Вот если бы вы...

— Что — вы? — исподлобья спросил Мурашов и тут же повернулся к ротному Пахомову: — Как ты на это смотришь?

— Человек двадцать выделю.

— Да они же у тебя на ногах не стоят,— посомневался Мурашов,— а утром опять... Еще и снаряды.

— Мои орлы, когда узнают, что пушки к ним под бок... Пойдут, пока не упадут, потом еще сто верст пройдут.

А Роман добавил.

— Снаряды на лошади подвезем

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Осилить приречный подъем, потом спустить пушки к речке и установить их в замусоренном весенними половодьями кустарнике удалось только перед рассветом. Да и то вряд ли успели бы, если бы не спас ударивший к ночи морозец, затвердивший почву. Он же спаял рыхлый ледяной покров реки, и на душе солдат стало несколько поуютнее. Будиловский, Пятницкий и Пахомов, роте которого было приказано первой ступить на обнаженную открытость реки и блокировать дот, до начала получасовой артиллерийской подготовки исползали весь передний край, побывали у каждого орудия. Пришли к единому: пока идет артподготовка, пушкари Будиловского, не жалея снарядов и самих орудий, будут долбить противоположный берег, уничтожая проволочные и минные заграждения, а с началом атаки все четыре ствола

повернут на дот. Командир огневого взвода Коркин, назначенный после ранения Рогозина старшим на батарее, встанет, как уже не раз бывало, за наводчика. Он поклялся, что хоть один снаряд да влепит в амбразуру. Класть такую удачу в расчет предстоящего боя было бы верхом легкомыслия, но что стреляет Коркин превосходно, известно, и Будиловский надеялся — а вдруг... Бывает же—вдруг. Иначе произойдет такое, о чем страшно подумать, что трудно будет поправить, а может, совсем не поправить. Ведь когда рота Игната Пахомова ринется на лед, этот дот на возвышенности... Если не заткнуть ему глотку, мало кто уцелеет.

Полуоглохшие от сатанинского грохота, Будиловский и Пятницкий лежали неподалеку от первого орудия и неотрывно смотрели на тот берег. По нему с закрытых позиций били орудия и минометы разных калибров. Сотрясая землю, разворачивая ее до самого нутра, с интервалом в три минуты рванули стокилограммовые снаряды пушки-гаубицы. Бээмовец не оказался пустобрехом, уложил снаряды куда надо.

Над левым берегом стояла раздерганная, багрово-черная стена земли и дыма с ослепительным понизу высверком разрывов. Окуляры биноклей подолгу задерживались на этом лютом хаосе, ни с чем не сравнимо беспокоящем солдатское сердце. Огонь орудий был расчетлив и продуктивен: взламывался проход пехоте в минно-проволочных заграждениях на крутизне, которая сама по себе — заграждение.

Пушки превзошли себя и добились невиданно учащенного неистового темпа стрельбы. Едва успевала пушка после выстрела выплюнуть исходящую дымком гильзу, как в ее чрево, лязгнув полуавтоматическим замком, влетал новый заряд. Было опасение, что пушки не выдержат бешеной, немыслимой скорострельности, могут перегреться, потечь откатниками. В это время взвилась красная ракета, рассыпалась и зависла огненным зонтом. Пехота россыпью скатилась на лед. Ее яростный самовозбуждающий рев не был слышен, но он был, без него не обходилась еще ни одна атака.

Вернулся посланный во взвод младшего лейтенанта Коркина ординарец Степан Торчмя. Крикнул в ухо Будиловскому:

— Младший лейтенант опять через ствол садит!

Будиловский ничего не ответил. Пятницкий ухмыльнулся, представляя сухопарого одногодка Витьку Коркина за этой работой. Всегда шныряющий взгляд его теперь сосредоточен. Только вот губы Витька не умеет унять, опять, наверно, трясутся. Витька в эти минуты не Витька — черт. Раз считает, что поймать цель через жерло ствола вернее, чем через оптику панорамы,— пусть. Хоть бы сотряс стены, контузил пулеметчиков, отогнал их от амбразуры, заставил улечься на спасительный бетонный пол. А если повезет, может, и внутрь влепит снарядик, достанет их там, на спасительном полу.

Нет, не повезло. Ни ему, Коркину, ни наводчикам других трех орудий, когда они тоже перенесли огонь на дот. Но, к великой радости Пятницкого, из амбразуры, когда пехота пошла на штурм, пулеметное пламя не сверкнуло ни разу. По атакующим били автоматы и неподавленные огневые точки с открытых площадок, смертоносно рвались фаустгранаты, а вот железобетонный колпак не выбросил из своего зева ни единой очереди. Может, у пулеметчиков нервишки не выдержали? Распахнули с той стороны

массивную дверь и дали драпу? А может, смерть все же нашла их за этой твердыней? Не велика дыра амбразура, и все же дыра Могло же повезти Коркину?

Много полегло из батальона Мурашова, на льду заметно добавилось к тем, вчерашним. Но живые уже взбирались на противоположный берег. Орудия седьмой батареи оказались в бездействии. Надо спешно перебираться туда, на тот берег, к пехоте, и уже с закрытой позиции сопровождать наступающих.

— Савушкин! Женька! — окликнул связиста Пятницкий. — Где тебя черти носят?

— Здесь я, товарищ лейтенант, — выбираясь из окопа, откликнулся Женя Савушкин. К спине его приторочен станок с катушкой провода, сбоку болтается коробка телефонного аппарата, на плече карабин вверх прикладом, в руках еще по катушке.

«Нагрузили парня — ишак ишаком, — подумал жалеючи Пятницкий, — а что сделаешь? Где их возьмешь, людей-то?»

— В-во! — с радостным удивлением воскликнул Савушкин. — Еще бы катушку, дак руки всего две.

— Тащи еще, — распорядился Пятницкий, — я понесу.

Подошел Будиловский с ординарцем, сказал Роману:

— Может, оставим полушубки, лейтенант? Упреем, — и, имея в виду немцев, пояснил: — Скоро оттесним их за рощу, а там и Степан Данилович с барахлом подоспеет.

Роман, отвергая услышанное, сказал неловко:

— Вам здесь надо остаться, товарищ капитан. Коркина осколком задело, в санбат надо. На огневой ни одного офицера.

Будиловский усмехнулся:

— Уж не мое ли письмо тебя тронуло, лейтенант? От пули уберечь хочешь?

— Ну при чем тут письмо? — мягко досадуя и упорствуя, ответил Пятницкий.

Не имел он права распоряжаться, но распоряжался, потому что держал на уме прежде всего письмо Будиловского, а скорее всего — малодушие капитана, рожденное этим письмом, и готов был взять на себя ответственность за все, что может произойти, хотя сомневался, имеет ли на это право, и оттого чувствовал себя не в своей тарелке. Тем не менее упорствовал:

— Вы же слышали — Коркина ранило, на огневой ни одного офицера.

— Коркин не считает себя раненым и остается, — строго возразил Будиловский.

Теперь не было смысла мудрить, чтобы отдалить комбата от опасности, а ее, опасности, там, куда надо идти, не в пример другому какому месту, — по самую маковку, и Роману было наплевать — уличен или не уличен он в своей примитивной хитрости. Он продолжал несговорчиво:

— Коркин не считает, мы должны считать. Ранен — значит, много не накомандует, а там обстановка может быть такой, что данные черта с два

подготовишь. Я хоть координаты передам или ракетой обозначусь. Здесь от вас больше пользы.

Бровь Будиловского поползла вверх. Ого, оказывается, где-то от него может и не быть пользы. Потребовались усилия, чтобы не осадить Романа. Но, несмотря на сказанное, Будиловский все же не мог не видеть и не понимать искреннего порыва Пятницкого и скрытой за этим порывом разумности доводов. Идти с пехотой вдвоем действительно слишком жирно, а если идти кому-то одному, то в этой свистопляске важнее выносливость молодого. Здесь же, на огневой, которую так или иначе скоро придется менять, а значит, решать уйму проблем, связанных с переправой через реку, наведением связи, доставкой боеприпасов и с иными заботами, которые упрутся в неукомплектованность личным составом, важнее всего опыт, а он у него, не в пример лейтенанту, имеется — с лета сорок первого на войне.

— Ладно,— через силу согласился Будиловский.— С собой, лейтенант, возьмешь Степана Даниловича Если проволоку порвут или с рацией что — связным используй. А пока за носильщика сойдет.

Женя Савушкин притащил еще два барабана. Роман отдал их Степану Даниловичу, у Жени забрал тот, что потяжелее — с красным трофейным кабелем.

Через речку шли как по минному полю — того и гляди, угодишь в снарядную полынью, предательски затянутую ледяным крошевом. Трупы еще... Не ступать же по ним.

Разглядывая тела — и те, что смерть куснула без внешних меток, и те, что не обошла своим скотским изуверством,— Пятницкий до буханья в висках боялся увидеть знакомое лицо. Нет, не было среди убитых Игната Пахомова. Не было и других знакомых. Хотя... Вон тот Похож вроде на сутулого пулеметчика, дзот которого Роман навещал под Йодсуненом. Нет, этот круглолицый и волосы вроде посветлее

Глава тринадцатая

Оборонительная полоса немцев вдоль Мазурского канала, одна из последних в укрепленном районе «Ильменхорст», была прорвана в начале 1945 года. Пятая, двадцать восьмая армии и вторая гвардейская армия Третьего Белорусского фронта в сходящемся направлении устремились к заливу Фришес-Хафф, Корпус, в состав которого входила дивизия генерал-майора Кольчикова, с ожесточенными боями пробивалась к Прейсиш-Эйлау, но завязила свое острие на реке Алле. Измотанным, понесшим большие потери в предшествующих боях полкам потребовалось более суток, чтобы проткнуть новое препятствие — передовые позиции укрепрайона «Хайльсберг».

Батальон майора Мурашова полторы тысячи голого как ладонь левобережья преодолел быстро, без особых потерь, но у шоссе, соединяющего Шиппенбайль и Фрид-ланд, снова напоролся на яростное сопротивление и стал оглядываться — не податься ли обратно? Спасли от срама немецкие окопы, зацепиться за которые отступающий противник не смог или не захотел, имея в виду что-то более надежное.

Окопы не были сплошной линией — всего в три фаса, но и на том спасибо. Стрелковые роты повыгребли снег и попрятались в них от изводящего артиллерийско-минометного огня.

Романа Пятницкого, Степана Торчмя и Женю Савушкина, догонявших пехоту, налет застал поблизости от этих разрозненных окопов. Ушибаясь о мерзлую пахоту, они как ящерицы добрались до занесенного снегом, еще не занятого пехотой окопчика с тремя изгибами и стали кротоми зарываться в его спасительную глубину.

Серия мин легла так близко, что у Пятницкого нестерпимым грохотом запечатало уши. Комья земли булыжной тяжести саданули в спину, затылок, у Савушкина к чертям собачьим отбросило порожнюю катушку. Отплевавшись, Роман приподнялся. Н-ну, немец, откуда у тебя столько добра взялось! Вокруг рвалось, крутилось, застилало сизым дымом. Перекати-полем пронесло что-то в отрепьях шинели, посорило брусничным высыпом.

Направление на огневую можно угадать, расстояние тоже известно. Провались они, коэффициент удаления и шаг угломера! Хотя на глазок, самым приблизительным образом кинуть пару снарядов, увидеть разрывы, потом легче будет!

Скосил глаза на Женю Савушкина Женя обнимал аппарат, дул и кричал в трубку. Он успел ущемить кабель в клеммах аппарата, даже, для усиления индукции, посикать на вбитый в мерзлоту штырь заземления и теперь тщетно упрасивал «Припятъ» откликнуться.

— Савушкин! Что у тебя там?! — что есть силы закричал Пятницкий.

Будто от этого крика враз прекратился обстрел. Вернее, не прекратился — утишился. Смерч огня и металла отсечно перекинулся на реку, слепя, укрощая, вынуждая на бездействие артиллерийские и минометные батареи, те самые батареи, которые полчаса назад громили вражеские укрепления, взламывали его береговую оборону, помогали пехоте одолеть удобренный минами крутояр и выйти вот на это шоссе.

Степану Даниловичу без вопросов было ясно — втяпались. Если разведка — глаза, то связь — нервы. С перебитыми нервами много не узришь, не наработаешь. Батарея будет молчать, немцы долго чесаться не станут, скоро пойдут в контратаку, и надо надеяться только на себя. Хотя почему на себя? Слева и справа — пехота. Понимают мужики, что и как, не ждут манны небесной. Степан Данилович устроил перед собой автомат, вынул из карманов гранаты, оглядел, как яблоко, каждую, будто искал местечко, куда вонзить зубы.

Оглушенный, испуганный обстрелом, Женя Савушкин тревожно и растерянно сообщил:

— Нету связи, товарищ лейтенант!

Нет связи... По рукам спутан! Скорее отправить Степана Даниловича на линию? Да где там! Автоматная трескотня и вой сотен глоток близятся. Пятницкий переложил ТТ за отворот полушубка, устроил гранаты половчее. Савушкин клацнул затвором карабина — вогнал патрон в патронник. Уцелевшие, пересидевшие обстрел бойцы из батальона Мурашова отряхнулись от накиданного на них, оцетинились оружием. Не очень-то пронял их этот налет. Заносчиво вплелись во вражеский гам короткими

стежками «Дегтяревы», солидно застучали «максимы», бодря, затакал ДШК, малость выждав, торопясь, сливаясь в градовый гул, сыпанули автоматы.

Перед окопом Пятницкого немцы появились неожиданно, вынырнули холера их знает из какой ямины Внешне спокойный, Степан Данилович несуетливо, расчетливо кинул две гранаты, взялся за автомат. Пятницкий бросить гранату не успел: ДШК, похоже, узрел этих немцев, резанул по ним крупнокалиберной светящейся струей Повернули, дали тягу. Чека выдернута, обратно в карман гранату не сунешь, на бруствер не положишь. Кинул — аж в плече хрустнуло. Боялся — не долетит. Нет, хорошо упала. Успел и Савушкин обойму выпустить, снова преник к трубке.

— Степан Данилович! — окликнул Пятницкий разведчика.

— Иду, Владимирыч,— Степан Данилович выпростался из снежного гнезда, положил ближе к Пятницкому оставшиеся гранаты, подал автомат.— Возьмите, а мне свой пистоль на всякий пожарный.

Пятницкий отдал ТТ, принял автомат. Степан Торчмя ухватил провод в рукавицу и швыркком скатился за бугор. Уже оттуда крикнул Савушкину:

— Женя, кинь неразмотанную катушку, может, наращивать придется!

Первое время о продвижении Степана Даниловича сообщал втиснувшийся в снег красный трофейный кабель: пошевеливался, вздрагивал, рыхлил земляные смерзки. Потом успокоился — далеко отполз Данилыч. Савушкин вдавил трубку в ухо, слушал, время от времени, нажав клапан, умоляюще спрашивал: «Припять, Припять... Ну где ты, Припять? — и для верности называл себя: — Я Кама, я Кама. Припять, слышишь?»

Не слышала батарея, не откликалась.

А тут опять немцы. Эта схватка длилась дольше, чем первая, но того унижительного, гнусного страха, который сковывал вначале, не было. Страх, вызванный малочисленностью «войска» Пятницкого и его обособленностью от пехоты, прошел с появлением трех упыхавшихся, чумазных солдат с ручным пулеметом.

— Кто тут Ромка? Есть такой? — весело спросила потная оскаленная рожа, обдав Романа махорочным перегаром.

— Кто такие? — холодно спросил Пятницкий.

— Ай не видишь? Свои в доску... Не дуйтесь, лейтенант. Ротный увидел артиллеристов и прямо места не находит, тревожится: «Неужели там Ромка, неужели Ромка?» Вот я так и спросил.

Второй, сутулый дылда, оборвал его:

— Хватит, ботало коровье. Вы — Пятницкий?

— Да, Пятницкий. Кто вас послал? Какой ротный? — проговорил Роман, узнавая в солдате того, из дзота под Йодсуненом, и догадываясь, о каком ротном идет речь.

Стал приглядываться к нему и пулеметчик.

— Младший лейтенант Пахомов послал. Велел узнать, что тут у вас, все ли целы. Вот он,— показал на третьего,— возвернется, обскажет, а нам приказано ваше НП охранять. Эти гады, того и жди, полезут. Чуете?

Стихший было обстрел реки снова усилился. Часть минометов перекинулась на позиции мурашовского батальона. Пришлось вкопаться поглубже.

«Ботало» установил пулемет и повернулся к Пятницкому. Похлопывая пулемет рукавицей, весело спросил:

— Пять дисков. Хватит, товарищ лейтенант?

Роман встречал таких веселых. Нервная у них веселость. Что ж, в бою всяк по-своему себя бодрит. Только вспыльчивы такие весельчаки до бешенства. Пятницкий подмигнул ему и сказал тому, третьему — худому, умученному:

— Скажешь, что Пятницкий человека на линию выслал. Наладится связь — четыре ствола будет. Понял?

— Чего не понять-то. Понятно. Идти можно?

— Идти... — усмехнулся ободренный Роман. — Доползи хоть в целости. И это... Скажи — рад слышать о нем, мастодонте.

— О ком таком?

— О звере во-от таком, — раскинул Роман руки и одновременно с близким взрывом взвыл от боли. Стряхнув перчатку на снег, он детским движением сунул пальцы в рот. Сутулый качнулся к нему.

— Че тако, че с вами?

Роман вынул пальцы, помахал, охлаждая, и только тогда посмотрел на них. Ногти покрывались синюшной темью.

Убедившись, что с лейтенантом ничего серьезного не произошло, связной сказал: «Ну, я пошел» — и пескариком скользнул под уклон.

— Комком тебя, лейтенант, хлобыстнуло. Распустил крылья-то, — объяснил «ботало».

— Закрой хайло, — одернул пулеметчик напарника. — Тебе бы так. Вы снежком их, товарищ лейтенант, пальцы-то, пусть охолонут.

Мучаясь от нестерпимой боли, Роман нагреб в кучу серого снега, упрятал туда кисть. Почуввав облегчение, благодарно посмотрел на солдата, вспомнил утренний переход через Алле и даже фамилию этого солдата.

— Как хорошо. Хомутов, что встретились Я там, на речке, про одного на вас подумал.

Некрасивое вытянутое лицо солдата потускнело.

— Я ничего, живой куда. Дружка мово... Помните, на перине кемарил? На леде остался, вот эту боталу дали...

— Я тебе что, пряник? «Да-ал-и-и», — передразнил его напарник.

— Зачем пряник, ботало, говорю, — улыбнулся вроде бы глухой к юмору старый знакомец Романа.

— Какой есть. Умных-то — к умным, а меня вот — к тебе.

Незлобивую перебранку прервал рев новой контратаки. Пятницкий почувствовал, как инстинктивно поджались пальцы ног, криво усмехнувшись над этой мерзкой человеческой слабостью, взялся за автомат. Савушкин торопливо завязал тесемки на шапке, освобождая руки для карабина, сунул трубку под наушник и лег рядом с Пятницким.

— Ничего, Женя, отобьем и этих, — сказал ему Роман.

— А чего, я ничего, — бодрясь, пролепетал Женя и передвинул мешавший под животом подсумок.

Сутулый пулеметчик пошурился в сторону немцев — как далеко, растуды их,— деловито установил прицел, полулежащий, устраиваясь поупористей, посучил ногами.

Автоматный огонь становился все гуще и плотнее, пули летели над головами, цокали о землю, фырча и повизгивая, рикошетили.

Пятницкий прилачился к прикладу, борясь с волнением, выцелил рослого немца с раззявленным ртом, нажал спуск. Коротко и быстро стукотнуло в плечо. Немец выронил автомат, повалился. Роман, выискивая новую жертву, стал перемещать ствол, но Женя Савушкин толкнул его криком:

— Связь! Товарищ лейтенант, связь!

Степан Данилович, милый! Жив, значит, связал ниточку! Роман выдернул трубку из-под Жениной шапки, приложился к ней и услышал:

— Я Припять, отвечайте, отвечайте...

Мучаются на огневой, никак не дозовутся до наблюдательного.

Роман зажал больной рукой второе ухо, закричал:

— Я Кама, дайте седьмого!

— Кама, я...- затухало у реки.

Что там, опять порыв?

— Припять, Припять! — яростно потрясал трубкой Пятницкий.

Замолчала, отсоединилась Припять. Роман забыл о всем на свете. Припять, только Припять нужна ему. Он не видел, как справа от них немцы подошли вплотную к окопам и там люди с первобытным ревом кинулись друг на друга; как почти у самого бруствера испуганный, ошалелый Савушкин из его автомата свалил двух немцев; как сутулый пулеметчик хладнокровно расстреливал вражеских солдат, а его напарник, «ботало», зараженный дикой схваткой в пехоте, улапил возникшего с фланга автоматчика, не остерегаясь, остервенело выламывал ему руки и помутненно требовал: «Сдавайся, твою мать, сдавайся, зараза!» Немец, надо думать, всей душой, чтобы сдаться, но от адской боли в суставах лишь протяжно выл.

— Кама, я Васин! — снова услышалось в трубке.— Где лейтенант? Кама, лейтенанта к аппарату! Кама...

И опять ни звука, одно потрескивание.

Роман боялся не поймать голос, продирающийся через какие-то помехи, и, выкрикнув два слова, отпустил нажимной рычаг. Не забывались, ныли болью пальцы левой руки.

Выглянул на миг, посмотрел туда-сюда, перекинул трубку в ушибленную руку, правую вооружил гранатой. Снова в трубке:

— Кама! Я Васин, у нас тут...

Да что он, неразумный, не может короче, главное! Самому успеть сказать!

— Кама...— и опять гаснет голос артмастера Васина. Нет, зашеборшило. Соединяет, скручивает Данилыч проводки непослушными пальцами.

Может, ранен? Может, уже не он на линии?

Отложил гранату, прикрылся полущубком, чтобы лишний шум не попал в трубку.

— Васин! Всеми пушками! Прицел сорок! Направление — белая ракета. Даю белую ракету!

— Кама! Понял! Прицел сорок. Повтори направле...

— Припать, Припать...

Молчит Припать, молчит батарея. Степан Данилович, родной, что же ты?

Немецкая артиллерия продолжает бить по реке, но здешний бой уgomонился. Срезанный очередью, лежит на бруствере второй номер пулемета, руки окостенели на горле изломанного, придушенного им автоматчика.

Пришел в чувство Савушкин, затеребил Пятницкого: «Что там?»

Хотел бы знать Роман — что там, на линии. Но снова в наушнике зашуршало, запотрескивало. Видно, плохо скрепляются у Данилыча провода, только задевают друг друга.

— Кама, прицел понял. Направление дайте, угломер!

Какой там, к хрену, угломер, неразумные!

— Направление на белую ракету!!! — оглушающе взревел Пятницкий, боясь разъединения. — Даю белую ракету! Прицел сорок! Сорок!!!

Спешат по проводу слова Васина, царапаются о стальные жилки, затухают, но слышно:

— Понял, передал...

— Васин, слушай. Десять снарядов на ствол, садите беглым!

— Понял! По десять!

Пятницкий отдал трубку Савушкину, перемогая боль под ногтями, через колено переломил ракетницу, увидел белую попку патрона. Славненько, хоть тут порядок! Дымным следом ушла ракета ввысь, достигла предела, лопнула молочным светом.

Немцы с тупым упрямством наладили третью атаку. Густо в цепях. Били, костоломили их, а все не убывают. Свежих, что ли, подкинули?

Не подвел, разобрался Васин. Настигая друг друга, запели в воздухе родимые семидесятишестимиллиметровые. Вот и разрывы: резкие и настильные — осколочные, ухающие и вздыбленные — фугасные. Зачем фугасные? Ладно, забылся кто-то неразумный, не снимает колпачков со взрывателей...

Меткость, прямо скажем, ни к черту, но эффект, эффект! В-во-о, как уторкали, запылили пространство возле роши.

Немцам ли знать — прицельным или неприцельным сядят по ним, нет резона дожидаться худшего, во все лопатки кинулись под прикрытие леса. Да, теперь видно: вон она, роща, что на карте обозначена. Вшивенькая роща, низкорослая, войной исклевана.

— Женька, как там Припать?

— Опять на линии что-то, товарищ лейтенант! — откликнулся Савушкин.

— Вызывай, вызывай беспрестанно!

— Есть вызыва-а-а... Есть! Есть! Связь есть! Припать, Кама слышит!

Пятницкий — за трубку, затаил дыхание, ловит радующие звуки.

— Кама, Кама, Шимбуев говорит. Отвечайте.

Алеха? Откуда он? Там же Васин.

— Алеха, доворот передай...

— Лейтенант, я с линии,— голос не похож на голос Алехи-проныры, не похож, но все равно его голос: — Кабель сростил, иду к вам, передавайте.

— Кама, Кама,— это уже голос с огневой позиции.— Говорит капитан Сальников.

— Товарищ семнадцатый!

— К чертям кодировку, дуй открытым. Что у вас, какие возможности для стрельбы?

— Отличные, товарищ капитан!

— Карта есть?

— Есть!

— Координаты седьмой батареи?

— Если не переместилась, есть!

— Даю координаты всех трех. Записывай. Мы тут слепые. Будешь огонь вести дивизионом, снарядов не жалея. Сможешь дивизионом, Пятницкий?

— Вспомню... Попробую... (А-а, гадство, лепечешь!) Смогу, товарищ капитан! Записываю! Икс... Игрек... Есть. Так, девятая. Восьмая... Женька, держи трубку!

Сунул Савушкину трубку. Спокойней, спокойней, лейтенант Пятницкий. Где же координатная линейка, черт?. Вот она, за книжкой... Очень хорошо стоят огневые. Гаубичная чуток на отшибе... Ничего, не дрейфь, ты помнишь все, пристреляешь... «Снарядов не жалея...» Пальну залпом, скорее увижу свои разрывы, а там...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Перебегают, падают, снова торопливо перебирают ногами и приближаются двое — сюда, к его окопу. Один могучий, сапожищами топает — земля колыхнется. Не видит их Роман, не чувствует — у самого внутри все колыхнется, ум за разум заходит...

Вызревший в боях командир роты Игнат Пахомов сваливается на Пятницкого. Сваливается бережливо — насмерть бы придавил, мастодонт. Радостно обхватил Пятницкого:

— Ро-омка!

— Тихо, Игнат, целоваться потом будем,— отстранил его Пятницкий.

— Я не целоваться, по правде, морду бить прибежал. Почему пушки замолчали? Мурашов всех чертей поминает. В самый раз самим атаковать, вышибить их из лесочка!

— Погоди, заговорят. Двенадцать стволов заговорят.

— Что, Сальников твой? — обрадовался Пахомов.

— Он распорядился, он. Только огнем дивизиона я управлять буду.

Пахомов даже крикнул от восхищения. Спросил:

— Сколько?

— Молчать сколько? — оторвался от подсчетов Роман

— Балда. Сколько до открытия огня? Мурашову доложить, людей готовить.

— Оставь здесь человека или сам.. Минут пятнадцать на подготовку данных и на пристрелку. Потом на саму работу. Минут десять надо? Как смотришь?

— Ревякин! Жми обратно, нитку мою сюда!

Завершив подготовку данных для гаубичной, Роман окликнул телефониста:

— Савушкин, Припять давай!

— Есть Припять! — бодро ответил Савушкин, радуясь, что успел развинтить микрофон, посушить капсулу под мышкой. Уж шибко орали, отсырела, поди.

— Девятой батарее! Прицел... Угломер... Веер параллельный! Один снаряд на орудие, залпом... Огонь!

Роман не притронулся к биноклю, высунулся так, чтобы шапку или что другое не продырявило, впился острыми глазами в рощу.

Загудело в небесном пространстве незримое, потом отстало ухнуло за рекой. Правее и дальше рощи прянуло в зенит четыре темных конуса, высверкнули исподу, стали распадаться. Секунду спустя обрушенно донесся грохот.

— Ого! — восхитился Игнат Пахомов.

— Не ого, а гаубичные,— поправил его Пятницкий.— Левее ноль двадцать, прицел...

Счетверенный взрыв переместился, рванул по опушке в дранье изорванной рощи.

— Ладно? — спросил Пятницкий у Игната.— Или по леску закатать?

— Черт их знает, где их гуще.

— Сделаем так: гаубичную по самой роще пристреляю, а пушечные седьмую и восьмую на опушку выведу.

Игнату Пахомову притащили связь. Он обстоятельно доложил командиру батальона о возможностях артиллеристов. Мурашов порадовался, поторопил для порядка и тут же закричал, даже Роману стало слышно: «Смотрите правый срез рощи! «Фердинанды»! Один, два... Два «фердинанда». Дождались молодчики, мать вашу...»

— Ответь, Игнат, упредим. Еще три минуты...

Немецкое самоходное орудие поработало одной гусеницей, повернулось и мгновенно выстрелило. Звонкий и хлесткий выстрел стеганул Романа по ушам. Снаряд рванул на левом фланге батальона и, видно, безрезультатно. Прямой выстрел есть прямой выстрел, и за прицелом, надо полагать, сидит обученный фриц, не тюха-матюха Не дать еще...

Пятницкий перекинул огонь седьмой и восьмой батареей к срезу рощи. «Фердинанды» задергались, попятись. И только теперь Роман отчетливо увидел зафиксированные зрением предыдущие залповые разрывы. По три в залпе. Почему по три? Закричал Савушкину так, будто он виноват:

— Женька! Почему седьмая и восьмая ведут огонь тремя пушками?

Женя быстро переговорил с телефонистом на огневой, доложил упавшим голосом:

— Две пушки... Ребят...

Значит, не двенадцатью, десятью стволами работать будет. Жестко скомандовал:

— Дивизионом! (О, как затеснило в груди — дивизионом!) Десять снарядов на орудие! Беглым! Огонь!

Савушкин, сглатывая застрявший в горле комок, дублировал команду.

Теперь не залповые, а разобщенные, наслаивающиеся выстрелы доносились из-за реки — били системы в семьдесят шесть и сто двадцать два миллиметра калибром

Измороженный, едва душа в теле, прицарапался разведчик Шимбуев со связистом, смахивающим на аборигенов Заполярья. Кажется, видел его в штабной батарее. Алеха пристроился рядом с Женей Савушкиным, стал докладывать с пятого на десятое:

— Степан Данилович почти до нас дополз. Вот пистолет его, бумаги... Шесть его сростков насчитал. Последний... Изоляцию даже не мог снять, так притыкал, оба конца в руках зажатые. Кровь на сростках, раненый полз. Во втором взводе орудие... Чинить нечего — куда колеса, куда щит... Прямое попадание. Комбат там был... Насмерть комбата. Еще Решетникова, Таипова... Накосил, падла...

Накосил... Коса в костлявых руках скелета... Расчудесная аллегория смерти! Скелет — с крестьянской косой, с литовкой Степана Даниловича!

Кого еще там? Василия Севостьяновича, значит. Да-да, Шимбуев сказал. Огневиков вон сколько... Может, еще кого? За то время, что Алеха добирался?

— Кабель как? Часто рвать будет?— спросил Пятницкий.

— Не должно, мы его, где можно, в межу перетасили. У позиций Липцев проверять будет. Капитан Сальников за эту связь... Такой разгон дает. Всех на ноги поставил.

— Рацию бы прислал...

— Рацию... До меня двое уходили. Лежат, как и Данилыч. Все из штабной. Мы вот с ним,— кивнул он на широколицего с плоским носом солдата,— не знаю как... Все межой да межой. Крюку дать пришлось... Зато надежнее.

Пятницкий слушал уже вполуха. Пристрелялся, пора и на поражение... Хорошо, где надо, торкаются и рвутся пристрелочные.

Забыв, какая тут предусмотрена наставлением команда и не теряясь от этого, более того, возбуждаясь, уверенный, что на огневых позициях поймут его, разберутся и не осудят, Пятницкий скомандовал на Припять:

— Засеките время! Десятиминутный обстрел! Беглым!

Роман не мог ошибиться. Там, на том конце провода, у трубки был капитан Сальников. Не удивляясь партизанской команде Пятницкого, Сальников серьезно и четко повторил каждое его слово. Только после, когда выкрикнул вслед за Пятницким бесновато вздымающее слово «Огонь!», быстро спросил:

— Атакуете?

— Да.

— Мурашов жив? С ним нет связи. Передай, пусть дальше рощи не зарывается. Закрепляйтесь в роще и держитесь там. Подошли свежие силы. Понял?

— Понял, товарищ капитан!

— Работай, композитор!

Непонятно, почему — композитор, да и вникать не стал. В такие минуты мало ли что с языка...

Работа уже шла. Оттуда, где еще не убранные лежали возле станин и ровиков тела Василия Севостьяновича, Решетникова, Таипова и, быть может,

еще кого-то, дивизион с бешеной силой кидал на двухкилометровую дальность снаряды, и они люто, зло терзали землю, деревья и все, что там было.

Содрогнув землю, рванули два стокилограммовых снаряда. Наверное, тот бээмовец по такому случаю еще парочку выпросил. Черным, тягучим шлейфом пополз дым от правой оконечности рощи. Значит, какому-то «фердинанду» в самый раз угодило. Второго бы накрыть.

Артиллерийский огонь противника, казалось, удвоился, и обещанные свежие силы не смогли выйти на рубеж майора Мурашова, роты которого преодолели изрытвенное снарядами четырехсотметровое пространство и просочились в рощу, где не было не только живых, но и мертвых немцев.

Продравшись через лесной бурелом, Пятницкий выбрался на другую окраину рощи и неподалеку от насмерть изувеченного штурмового орудия (вот и второй «фердинанд»!) разыскал командира батальона.

Сразу за листовенным колком (кажется, грабы, березы да худосочный осинник, теперь изломанные в прах) начиналась низина, скупно запорошенная снегом и изрыбленная бесчисленными воронками, исполосованная колесами, истоптанная сапогами. Слегка прогнутое поле в километре от рощи утыкалось в постройки, кирпичные стены которых с удушающим хладнокровием сообщали, что тут Иванам рассчитывать на что-то сносное в ближайшее время нет никаких оснований. Пустынная залежь, давно не тревоженная лемехом, правой оконечностью обрывалась у дорожных посадок, левым крылом уходила к приречной пойме, где Алле делала крутой заворот на запад.

Мурашов был мрачен, его картинные усики потеряли франтоватость, затерялись в темной небритости многодумного, осунувшегося лица. От двухсот человек, начавших штурм берегового кряжа, осталась едва треть, офицеров — раз-два и обчелся, из ротных один младший лейтенант Пахомов. Успокаивало наличие трех легких минометов, ДШК, двух станковых и четырех ручных пулеметов. Силища для стольких штыков! Успокаивало, да не совсем. Боеприпасы были на исходе, а мин — семь-восемь на «самовар». Кипяточком фрица не ошпаришь, так, самым морально погреться. Вся надежда на лейтенанта из артполка. Только бы связь не изрубили. О своей нечего думать. Рация побывала в полынье, а проводная натянута лишь между ротами. Вот артиллерийскую ниточку надо пуще жизни беречь. До темноты немного осталось, а там... Помыться с вехоточкой, отоспаться. Мужичков бы с автоматами сотенки полторы... Ладно, не надо жадничать — сотенку...

Мурашов с Пятницким стояли в отростке траншеи, где, по всей видимости, находилось у немцев боевое охранение.

— Дельно ты их сработал,— кивнул Мурашов в сторону самоходки. От нее разило железной и керосиновой гарью.— Разделали бы они нас, как бог черепаху.

Роман успел пристрелять по поселку первые орудия всех батарей, и его настроение, не в пример майору, было приподнятым. Мурашов отыскал в кармане сухарь черепичной крепости, разломил, подал Пятницкому.

— За «фердинанда», что ли?— улыбнулся Пятницкий.

— За это,— майор очертил полукружие,— с генерала потребуем. Сухарями не отделаемся. Кстати, ты, лейтенант, в сих делах не скромничай, особенно когда дело солдат касается. На всех пиши, кто не трус, на мертвых тоже. Сверху рядовых мужичков плохо видно, начальство может и не почухаться.

— Товарищ майор,— осмелился подойти не отлучавшийся далеко от Пятницкого Шимбуев.

Мурашов с треском кусанул сухарь.

— Чего тебе?

— Разрешите к лейтенанту обратиться.

Мурашов хмыкнул: нашел где строевую выучку показывать.

— Обращайся.

Шимбуев. приставил ППШ к стенке окопа, проворно скинул тощий вещмешок.

— У меня тут банка тушенки, дядька Тимофей успел сунуть, печенье офицерское. Пошама... Покушать бы вам

— Ординарец, чтоли?— поглядел Мурашов на Пятницкого.

— Не положено взводному. Разведчик. Валяй, Алеха, в землянку, сваргань. Не возражаете, товарищ майор? У Шимбуева и во фляжке найдется.

Шимбуев хотел что-то сказать, но махнул рукой, подхватил затасканную котомку и скрылся за изгибом траншеи. Мурашов сунул огрызок сухаря в карман, сказал:

— Тушенки пожевать не откажусь, а фляжку — потом. И без водки голова кругом. Как думаешь, не выщелкают нас до темноты?

— До темноты они сами деру дадут,— убежденно ответил Пятницкий.

Мурашов даже глаза распахнул.

— Твоими бы устами...

— Поглядите,— Роман махнул биноклем на пустошь, на излучину реки Алле, видную отсюда зарослями ивняка.— В бинокль виднее.

Мурашов долго смотрел в бинокль и без бинокля.

— Д-да, если у наших фрицев мозги не набекрень, иного им не остается, как ноги в руки. Двадцатая вон уже куда проперла.

За изгибом реки отчетливо прослеживался след боя, смещающегося все далее на запад. Прошли на бредущем «ильюшины». То наращивая, то утишая гул, косо вонзая в землю реактивные молнии, они покрутили там карусель. Усилился, плотнее стал огонь тяжелой артиллерии. Пятницкий указал на кирпичные строения и предположил о немцах:

— Тоже, поди, приглядываются.

Вернулся Шимбуев, пригласил в блиндаж:

— Идите с товарищем майором, подогрел на щепках. Мы с Женькой последим за немцами.

— Бинокль где?— спросил Пятницкий, не увидев на груди разведчика привычного там бинокля.

— Когда сюда пробирались... Осколком. Тут вот больно, кашлять трудно... Дайте мне ваш, я потом себе у немцев достану, с головой сыму.

Что посидят вдоволь, отдохнут в покое — этого и в уме не было, но перекусить все же успели. Ухнул неподалеку тяжелый, за ним — второй,

третий... И пошло. Как живые, шевельнулись накаты землянки, нацедили пересохший суглинок. Мурашов с Пятницким поспешили вон. В щепки разносило остатки рощи, насаженной лет сорок назад здешними земледельцами.

— Ты прав, лейтенант! — прокричал Мурашов. — Уходит немец, это он нас треножит, боится — в штаны вцепимся!

Пригнувшись, Роман побежал по зигзагам траншеи к участку, где оставил Шимбуева с Савушкиным

— Что тут происходит? — торопливо спросил разведчика.

— Фрицы манатки сматывают, — по-своему подтвердил Шимбуев высказанное Мурашовым. Он не повернулся на приход Пятницкого, продолжал наблюдать в бинокль. Добавил к сказанному: — Несколько порожних машин подошло, беготня какая-то.

— Дай-ко, — ухватился Пятницкий за бинокль.

— Товарищ лейтенант, семнадцатый вызывают! — крикнул сидевший на дне окопа Савушкин и, задрав голову, понял, что нет у лейтенанта времени отрываться от бинокля. Женя зажал аппарат под мышкой, поднялся и подставил Пятницкому трубку к уху.

— Пятницкий, чем вызвана перемена в огневой работе противника? — спрашивал Сальников от реки.

Роман доложил, что немцы, по всей вероятности, начали отступление. Им хорошо видно, как погибает левый фланг соседней дивизии, боятся в мешок угодить, вот и бьют по наседающему батальону.

— Передай приказ Мурашову, приказ генерала Кольчикова, — оставаться на месте, — горячо говорил Сальников и подстегнул вопросом: — Почему пауза? Ломай, что можно изломать, не давай живыми уходить, нам с тобой в Кенигсберге легче будет!

Подав команду на огонь по данным последней пристрелки, Пятницкий передал Мурашову приказ командира дивизии и потянул Шимбуева за рукав:

— Воды, Алеха. Глоток бы, горло как рашпиль.

— Нету. И бинокль и баклажку разнесло.

Хотя бы снежку хватануть. Но не было снега: с копотью, с землей перемешан.

Полчаса спустя появилась группа автоматчиков. По внешнему виду на свежие силы они не походили. Скорей всего, сузился фронт и вытеснил более общипанные части. Следом за авангардом автоматчиков высыпали густые цепи пехоты и, не останавливаясь, минуя позиции мурашовского батальона, неровным волнистым неводом пошли по давно не паханному и не рожавшему полю.

На опушку выбежали проворные минометчики, с заученной быстротой стали устанавливать свои «самовары» Четыре танка, поотставшие при обходе рощи, наращивали скорость, обгоняли пехоту. Пятницкий изморенно опустил рядом с Женей Савушкиным. Освоившийся, воспрянувший малость Женя позволил себе даже побаловаться самокруткой.

— Куришь? — удивился Пятницкий.

Женя смутился.

— Когда филичевый давали, не курил, а сейчас чего... Вас! — он поспешно подал трубку Пятницкому.

От голоса младшего лейтенанта Коркина у Романа радостно зашпешило сердце и совестно стало за свои утренние мысли. Уйди Коркин в медпункт — никто не осудил бы его, хотя рана, если исходить из обстановки, не из тех, чтобы покидать батарею, но рана есть рана, и тут ничего не попишешь. Однако Роман, хотя и убеждал Будиловского, что Коркин должен не воевать, а лечиться, внутренне готов был не одобрить его уход. Остался Коркин, и Пятницкому было неловко сейчас за то, что подумал тогда.

— Витя, жив? — прокричал Роман в трубку.

— Жив, — не разделил его радости Коркин: не очень-то приглядная картина была на огневой, не до восторгов Коркину, спросил мрачно: — Сам-то как? Вот и отлично Мы уж тут всякое думали. Теперь слушай. Тебе велено принять командование батареей и спать до утра, я пока покомандую. Снимаемся. Место сосредоточения — Баумгартен. Туда и приходи утром. Найдешь, где поспать? Да, еще... Тут товарищ из дивизионки пришел, спрашивает, чего и сколько уничтожила наша батарея. Ну, орудий вражеских, машин, пулеметов...

— Что? — опешил Роман. — Его, случаем, не контузило? Рошу с лица земли снесли — и ни одного трупа. Всех мертвяков уволокли... Деревня вон горит, может, побежать, посмотреть, посчитать? Машины ему, пулеметы..

— Не знаю, не знаю, — с оттенком иронии произнес Коркин. — Уважать надо прессу.

— Два «фердинанда» накрыли, можешь сказать, за это ручаюсь, да и то с кем-то делить надо, — закричал Пятницкий. — По всему другому пошли подальше.

— О «фердинандах» скажу, посылать сам изволь. Передаю трубку.

Какой липучий газетчик! Что ему сказать? Обалдеть можно!

— Товарищ лейтенант, — в трубке голос старшины Горохова. Слава богу, не корреспондент.

— Слушаю, Тимофей Григорьевич.

— Начальник штаба приказал сматывать хозяйство. Так что не беспокойтесь, все сделаем. Покушать есть что? Я пришлю.

— Не нужно, Тимофей Григорьевич, не гоняй людей на ночь глядя. Какие потери?

— Трое. Сейчас со всего дивизиона собирают, во Фридланде похоронят... Еще раненых трое. Их Липатов в медпункт увез.

— О Степане Даниловиче знаете? — спросил Пятницкий.

— Д-да, — запнулся Горохов, вздохнул прерывисто. —

Я послал за ним... Как рука ваша?

Это еще откуда — о руке? Посмотрел на Савушкина Тот отвел взгляд, чтобы не видеть, как товарищ лейтенант головой покачивает.

— Чепуха, старшина, маникюр попортило, — отозвался Пятницкий и вдруг вспомнил: — Тимофей Григорьевич!

— Что? — встревожился старшина.

— Документы капитана где? Сумка, планшетка? Там его письмо жене, в Гомель. Слышишь? Не отправляй!

— Все у меня пока.

— Письмо найди, припрядь. Сам ей напишу.

Вспомнился разговор с капитаном Будиловским, заныло, потянуло сердце — будто виноват в его гибели, будто сам бесчестно увернулся от смерти, вместо себя другого подставил. Понимал — глупость все это, понимал, но мучился.

Только-только забрезжил рассвет. Пятницкий, Шимбуев, Савушкин и связист из штабной батареи, миновав поле, берегом реки вышли на дорогу к Баумгартену. Баумгартен брали соседи, и Роман с любопытством оглядывал место побоища. Группа нестроевых солдат из похоронной команды собирала неприятельские трупы. Пятницкий недовольно подумал: «Что, пленных для этого не нашлось, что ли?» Среди побитого, изорванного снарядами можжевельника виднелась отрытая за ночь и наполовину заполненная яма.

— В-во наворачкали! — зябко восхитился Шимбуев Враскачку, по-утиному, подъехала полуторка. Сидевший поверх клади солдат, покряхтывая, слез, открыл борт, снова, оскользаясь подметкой на шине колеса, вскарабкался в кузов. Ногами, березовой рогатиной начал сталкивать то, что там было. Подходили другие солдаты, цеплялись своими приспособлениями за сброшенное, тащили к яме. Роман миновал их, стал спускаться к сараям — к окраине Баумгартена. За сараями, среди безжизненно холодных, давно сгоревших строений и еще тлеющих развалин жилых домов, стояли колесные кухни, сутились люди. Кто-то разжился губной гармошкой и теперь безжалостно и неумело дул в нее. Чисто и хорошо смеялись военные девчонки. В народившейся поутру кладбищенской тишине было это удивительно и щемило давней молодой тоской.

Из кустов на дорогу выбрался солдат лет за сорок. Перекинув веревку через плечо, он волочил к яме мертвого. Шинель покойника задралась, длинные неживые руки мотались на неровностях, из кирзовых сапог, перехваченных буксировочной петлей, торчали пожелтевшие портянки.

Кирзачи! Пятницкий оцепенел, остановился в ознобе. Гул в голове обрушил тишину.

— Т-ты что? — задохнулся Пятницкий. — Т-ты что, иначе не можешь? Он тебе кто — немец? Фашист? Не видишь, глаза протереть?

Подсмыгнув по погону веревку, солдат покосился на молодого лейтенанта, огрызнулся:

— Потаскай-ка всю ночь... Нацепляют звездочек, ходят, распоряжаются...

— Стой! — срывая голос от страшной догадки, закричал Пятницкий и схватил солдата за лацканы выдавшей виды шинели. — Ты куда его? А? В эту яму?!

— Чего орешь! Отцепись, — с упрямством и усталым озлоблением солдат дернулся и выпустил веревку. Задубевшие ноги покойника ударились о землю. В душе Пятницкого взорвалось все сгустившееся из пережитого, пересиленного, перетерпленного за последние сутки. Он с силой толкнул солдата, и тот полетел впереверт. Роман выдернул из кобуры пистолет.

— Погибшего советского... Я тебе покажу, мерзавец! К стенке! — помраченно выкрикивал он и наступал на поднявшегося и ощерившегося солдата.

Стенки не было, спина близила к стожку полешек-кривулин. Все пошло на дрова безлесого, экономного прусского крестьянина — пни, коряги, сучки... Улежный стожок наполовину был обобран, видно, для тех вон кухонь. Потемневший — ветрами обдутый, дождями моченный,— он желтел одним боком. Закрываясь от пистолета щитком ладони, боясь упасть, солдат другой рукой уперся в нагромождение крохотных полешек. Наглость вылетела из него, испарилась, глаза распахнул страх.

— Вы что, вы что... Товарищ. Я же...

Шимбуев бросился к Пятницкому, но не успел. Разрывая тишину, обращая внимание всех, слонявшихся у развалин по делу и без дела, грянули пистолетные выстрелы. Вздрагивая, щепались и выскакивали уплотненные деревяшки возле обмершего, прощавшегося с жизнью погребальщика. Невидимо мелькавший затвор ТТ остановился, из открытого зева патронника курился легкий дымок. Пятницкому хотелось двинуть солдата в зубы Сдержался. Трудно дыша, выдавил:

— Похорони как положено. Проверю. Если что... Взаправду убью. В той... с немцами зарю.

Повернулся спиной и пошел. Шимбуев настиг его, спросил тревожно и с упреком:

— А если бы... промазал?

Пятницкий промолчал, обошел воронку и резко остановился. Постоял, посмотрел на закрытое протянутыми тучами небо, на своих неочухавшихся спутников и спросил:

— Шимбуев, солнце было хоть раз? Ну, как мы в прорыв пошли?

Солдаты переглянулись.

— И я не помню,— вздохнул Пятницкий.

Глянув на него, твердо зашагавшего дальше, штабной связист сказал Шимбуеву:

— Лейтенант про солнце, а я маму вспомнил. Ее предки солнцу поклонялись... Я только по отцу русский, мама из нганасанов, самоедов авамских. В их племени, чтобы сказать: «Я жить хочу», говорили: «Я солнце видеть хочу». Вот и лейтенант, значит, жить хочет.

— Во! Вакнул тоже,— запнулся в шаге Алеха.— Тебе, поди, не хочется.— Шимбуев, как и Пятницкий минуту назад, запрокинул голову и широко открыл глаза на хмурое небо, невесело цыкнул слюной через зубы:— Конечно, куда с добром, когда — солнце.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Пятницкий сидел в кабине «студебеккера» и, притулившись к шоферу, сладко посапывал.

Трехосные машины с семидесятишестимиллиметровыми орудиями в прицепе стояли колонной на узкой шоссе. Когда остановились, к чистому духу оттаявшей земли примешались запахи пороховой гари от пушек, бензиновых паров — от машин. По обочинам — голые яблони, еще не хлебнувшие весенних соков, на бульжнике немецкого проселка — жиденькая размазня. И над всем этим и вокруг этого — непроглядная темень.

Кто-то поскребся в дверцу, ругнулся, нащупывая ручку, и простуженным голосом вначале спросил, потом распорядился:

— Комбат-семь? В голову колонны, срочно!

Шофер Коломиец, он же командир отделения тяги, удивительно конопатый солдат — даже кисти рук обрызганы бурым, — пошевелил плечом, на котором лежала голова Пятницкого.

— К командиру полка вызывают, — пояснил Коломиец, вороша затекшим плечом. Все это время он сидел без движения, боясь потревожить спящего командира батареи.

Пятницкий потянулся, поправил съехавшую на живот кобуру, пошарил под ногами шапку, зевнул.

— Может, на переформировку? — с безразличием, в котором скрывалась надежда, спросил Коломиец.

Пятницкий насупился, промолчал. Открыл дверцу и прыгнул в черноту.

Из кузова, раскрылив полы шинели, как курица с наместа, слетел ординарец Алеха Шимбуев и упал на четвереньки. Встал, обтер руки о голенища сапог, удобней вскинул автомат и молча зашагал рядом.

Полузаснувшая колонна оживала. Пятницкий, мучимый зевотой, ускорил шаг. Шимбуев, шлепая по грязи, бойко поспешал рядом. Покосившись раза два на комбата и уловив в его лице озабоченность, он, как и Коломиец, спросил с плохо скрытой надеждой:

— Может, на переформировку, товарищ комбат?

Услышав этот вопрос вторично, а если точнее — в третий раз, поскольку раньше Роман задавал его себе сам, Пятницкий сердито ответил:

— А шут его знает, Алеха.

Снова молчание, понятное обоим.

Люди вконец измотались от бессонных ночей и от постоянного телесного и душевного напряжения. Ждали, что после боев на реке Алле им дадут отдышаться. Не тут-то было. В Баумгартене задержались, конечно, но всего на сутки: чтобы личный состав помыть, одежду через вошебойку пропустить, боеприпасами пополниться. Батарея Пятницкого из артмастерских пушку получила вместо разбитой — чужую, ранее покалеченную, приведенную теперь в полный порядок.

Вот с людьми — хуже. Из резерва или запасных полков не прислали ни одного человека. Берегут, поди, для Кенигсберга. Из дивизиона АИР пятерых, не пригодных для аристократической инструментальной разведки, но, по разумению начальства, способных заменить погибших оружейных номеров, перевели все же в дивизион капитана Сальникова, но в седьмую батарею Пятницкого ни одного не попало.

Вот так вот перетасовали кое-что внутри дивизии, произвели перестановки — и все. Вроде сил добавилось, покрепче стали. Так-то оно так, только фронт дивизии теперь с учетом этих сил — всего тысяча метров.

Сегодня неожиданно сняли с передовой, отвели куда-то на левый фланг армии. Может, решили все же по-настоящему укомплектовать? По госпиталям да санбатам пошарить, а то призывников подбросить? Лучше бы, конечно, нюхавших пороху. Да что говорить! И от зеленых стручков никто бы не отказался. Взять его батарею. Воевавших, опытных, профессионально подготовленных пушкарей, артиллеристов в полном смысле этого слова — один-два на орудие. В помощь к ним переведены буквально все. Даже

старшина Горохов. Ничего плохого о Горохове не скажешь, но вести хозяйство батареи — одно, вести бой номерным орудия — совсем другое. То же самое и писарь Курлович, и повар Бабьев, и санинструктор Липатов... Но и с ними в расчетах только по четыре человека.

Связисты Липцева — те вообще разучились спать, нет подмены. С офицерами... Взводом управления все еще сержант Кольцов командует. Вернувшийся из санбата лейтенант Рогозин, украшенный свежеподжившим шрамом на правой щеке, третий день хромает. Связки, говорит, потянул. Похоже врет, скорее всего, осколком задело Шимбуев видел, как он, таясь, делал перевязку.

— Мотает бинт, морщится,— рассказывал Алеха Пятницкому, — а сам интеллигентно так по матушке, по матушке...

Понятно, почему врет. Из санбата опять в санбат? Неловко парню, понимает — людей-то кот наплакал, вот и помалкивает о ранении.

— Д-да, подремонтироваться надо бы,— Шимбуев плюнул в темноту и убежденно добавил:— Только ни хрена не выйдет. Это уж точно.

...Вглядываясь в лица офицеров третьего дивизиона, подполковник Варламов показал на карту, раскинутую на столе штабного автобуса.

— Ближе,— сказал он.— Достаньте свои. Квадрат.. Видите этого паука? Перекресток пяти дорог. Две дороги из сходящихся идут от противника. По данным авиационной разведки, по этим дорогам движется моторизованный корпус, в голове которого танковая дивизия. Зарыться и не пропустить. Первый и второй дивизионы будут здесь, левее. Им распоряжения даны. Вам, Сальников, тут. На самом перекрестке — батареею... Какую намерены, комдив?

Капитан покосился на Пятницкого. Варламов одобрил:

— Принято! Седьмая, Пятницкого. На том месте сейчас развернулась батарея зенитчиков. Перестраивается для стрельбы прямой наводкой. Впереди них четыре полковых сорокапятки. Те и другие в оперативном отношении будут подчинены Сальникову. До рассвета корпус едва ли подойдет. За это время рыться по уши. Остановишь, Пятницкий?

Пятницкий едва не выпалил: «Умру, но остановлю!»— и смутился оттого, что собрался сказать эту веками освященную клятву, которая прозвучала бы сейчас в тесном, жарко натопленном штабном автобусике крайне напыщенно. Пятницкий замедлился с ответом, соображая, как сказать то же самое, но другими словами.

— Чего молчишь?— подстегнул командир полка, и Пятницкий не нашел других слов.

— Умру, но остановлю! — глядя в глаза Варламова, сказал он.

Судя по реакции присутствующих, они не нашли ответ нескромным, для них он был вполне уместным. Только Варламов не преминул внести поправку:

— Умирать, Пятницкий, погодим. Мы с тобой еще в академию вместе Поедем, не боями, парадными командами командовать будем.

Горячее и благодарное тронуло душу Пятницкого.

Комбата Пятницкого на батарее ждали. Возле машины Коломийца собрались командиры расчетов и отделений, оба офицера — лейтенант Рогозин и младший лейтенант Коркин.

Присели, прикрылись плащ-палаткой. Роман коротко изложил поставленную батарею задачу.

— Куда их черти несут, комбат?— спросил Коркин.

— В Кенигсберг, больше некуда.

Старшина Горохов преувеличенно весело выдохнул:

— Это есть наш последний и решительный бой..

Пятницкий осуждающе нахмурился:

— Ты, Тимофей Григорьевич, гимн под лазаря не перестраивай, пожалуйста.

Старшина недоуменно пожал плечами, но проговорил виновато:

— Чего вы серчаете, товарищ комбат?

— Ладно. Сам знаешь,— ответил Пятницкий и скомандовал:— Орлы, разумные-неразумные, по местам.

Двигались в плотной темноте со скоростью улитки. Возглавлял колонну командир отделения тяги Коломиец. Он, как колясочный гоночного мотоцикла, провис из дверцы, вглядывался в осклизлую булыжную дорогу. Упаси бог съехать на поле. До рассвета пробуксуешь. Надо же, март не наступил, а тут... Скорее бы опять приморозило.

— Ползем, как в дегте,— недовольно заметил Пятницкий.

— Можно и поскорее. Только вот что, комбат,— притормаживая, сказал Коломиец,— накиньте на спину полотенце и шпарьте впереди «студера», быстрее будет.

Роман добродушно проворчал:

— У тебя, Николай, ни на грош чинопочитания, но за разумное предложение бог тебя, возможно, простит. Давай свое полотенце.

Пятницкий выбрался из машины, пошел впереди. С полотенцем на плечах в шаг с ним разбрызгивал грязь Шимбуев. Колонна сразу прибавила скорость. Кургузый Алеха, поспевая за комбатом, пыхтел, скользил подошвами, рвал их из черноземной каши и вполголоса отводил душу.

— Стой! — неожиданно раздался властный женский голос.— Стой!

— Стою, хоть дои,— показал Шимбуев свое скверное настроение, но на всякий случай шаги стал делать помельче. Понятно стало — вышли к позициям зенитных батарей. Значит, где-то рядом место огневых Пятницкого.

Через канаву перемахнуло несколько фигур с автоматами на изготовку. Разобрались, что за колонна, куда направляется. Цыганистого вида дивчина с сержантскими нашивками на погонах откровеннейшим образом полюбовалась Романом, потом уж повернулась к Шимбуеву. Уставившись на нее, тот стоял с распахнутым ртом. Зенитчица сдвинула на глаза Алехе шапку и насмешливо спросила:

— Кого доить-то, мышонок?— и тут же подлудила голос:— Будешь ходить полоротым — немец подоит твою кровушку. А ну, захлопнись!

Довольный остановкой и восхищенный девицей, Шимбуев даже не рассердился, буркнул только:

— Экая тетенька,— и, обращаясь к Пятницкому, высказал свою догадку:— Жарко будет. Если уж бабенок против танков...

Пушки отцепили на положенном расстоянии друг от друга, быстро разобрали лопаты. Рогозин с Коркиным расставили буссоль, определили места для оружейных окопов.

Началась опостылевшая, но всегда нужная и без понуканий выполняемая работа. Копали, прислушивались, вглядывались в темноту — туда, где рогулькой пропадали дороги, снова брались за лопаты. Пятницкий проверил наличие подкалиберных и бронебойных снарядов, распорядился доставить еще двадцать ящиков.

Ожидание боя взвинчивало. Пока окапывались, этого не замечалось, но когда, гася звезды, стало бледнеть небо, на позиции легла гнетущая тишина. Роман не мог сидеть на месте. Он по десятку раз осмотрел каждую пушку, побывал у соседей-зенитчиц, на огневых сорока-пятках, но обрести спокойствия не мог. Скорее бы, скорее. Лучше бой, чем эта парализующая немота сереющей ночи, это нервное ожидание...

Стоит присесть, задуматься — в голову лезет всякое Черт бы побрал дядьку Тимофея! «Это есть наш последний...» Как испорченная пластинка зудит под черепом

Роман идет к третьему оружию. Им командует артмастер Васин вместо Семиглазова... Жив ли Семиглазов? Должен выжить. Липатов говорит, если навылет, то ничего, починят...

Шимбуев — тенью рядом. На огневой позиции расчета Васина раздраженная перебранка.

— Зубов много? — яростно спрашивает Васин — Убавлю. Рой, кулема, рой глубже.

Перед Васиным стоит худой, нескладный, со впавшими щеками и всегда плохо пробритый писарь Курлович, отлаивается.

— В чем дело? Чего сцепились, неразумные? — остановил их Пятницкий, понимая причину раздраженности.

— Не могу, товарищ комбат, ладони в кровь стер, выдохся, — признался жалкий в этот миг Курлович. Еле зрячий глаз его слезился.

— Хлюпик! Интеллигентская тряпка! — продолжал разоряться младший сержант Васин. — Первым же осколком выковырнет тебя из этой г...ной ямки. Дай лопату, сам копать буду! — не обращая внимания на Пятницкого, продолжал кричать Васин.

Курлович послушно тянул лопату к себе. И вырвал бы из цепких лап Васина, да вдруг застыл растерянно, выпустил черенок.

— Слышите? — просипел он.

Явственно доносился гул мотора. Танки? Уже? Теперь вступал в силу закон протеста. Не сейчас, потом, позже! Но когда потом? Когда позже? Пусть сейчас, немедленно! Пусть идут, пусть включают самую скорую скорость эти чертовы танки! Пусть вихрем ворвутся в эту ватную, наэлектризованную тишину, воспламят, взорвут ее, тогда... Тогда все будет иначе. Тогда оживет в человеке все, что в нем есть, что заложено про запас, на будущее.

— Слышите? — просипел Курлович.

Васин слышал и уже разобрался в доносившемся гуле. Смешливо поморщил нос, сказал примирительно:

— Чего психуешь, Юрий Николаевич? Это «студер» наш. Колька Коломиец, раздолбай коломенский, снаряды прет.

Курлович со свистом втянул воздух, затрясся в кашле впалой грудью и с женской неловкостью вонзил лопату в освобожденную от дерна и теперь податливую землю.

В редких окопчиках перекликаются пехотинцы и копают, копают, лезут поглубже в землю. Танков нет. Но они будут, скоро будут.

Прихрамывая, к Пятницкому подошел Андрей Рогозин. Свежий шрам безобразил его чистое интеллигентное лицо. В зубах — не знающая огня трубка. Горбоносый, глаза ввалились Спросил:

— Роман, из штаба есть что-нибудь?

Пятницкий сообщил, что знал:

— Ждите, говорят, танки прошли Грюнхоф.

Рогозин посмотрел на небо, шрам дернулся.

— Значит, скоро. К рассвету, заключил он Дегтярная темень жижела, в зените просматривались

рваные, быстро текущие облака. Рогозин похлопал трубкой.

— Роман, ты помнишь «Сомнение» Глинки? Попытался вспомнить сейчас... Не смог Страх напал, что ли?

— А ты что, из другого теста?— спросил Пятницкий с улыбкой и pokrивился, чувствуя боль пересохших губ

— Из того же, но смерти не боюсь,— мрачно сказал Андрей и так же мрачно пропел: «С ней не раз мы встречались в степи...» Это помню, а «Сомнение» нет. Гляди вон, у первого орудия по тебе кто-то соскучился, шапкой машет.

Махал Женя Савушкин. Пятницкий прыгнул к нему в ровик.

— Как дела, композитор?— с ободряющим смешком спросил в трубке голос командира дивизиона.

Что ему этот «композитор» втемяшился? Или фамилия что навееала? Тогда, во-первых, знаменитый однофамилец не был композитором, он собирал народные песни. Во-вторых... Что за дурацкая манера у армейских патриархов прозвища лепить подчиненным! Но Пятницкий не сказал об этом, ответил:

— Готовы, встретим, товарищ семнадцатый. Настроение? А что оно... Ждем.

Отдал трубку, взобрался на бруствер, сел, свесив ноги в окоп. Ждем. Чего ждем? Победы? Будет победа, никуда от нас не денется. Снова будем ходить по тополиным улицам Свердловска, удить рыбу на Шарташе, прошвыриваться с девчонками у почтамта... Нет, прошвыриваться не придется. Он поедет за Настенькой, привезет ее к маме... А если ничего этого не будет? Ворвутся, сомнут — и одна мертвая кровь на земле... Разве мало ее было?

Ну-ну, возьми себя в руки, хлюпик.

Кого это называли хлюпиком? А-а. Курловича. Трусит? Может быть. А другие? Как они? Страшно всем. Страшно сейчас, потом страха не будет, будет только ожесточение, лихорадочная работа мозга и мышц. У Андрея Рогозина голова всегда остается светлой. Он станет ходить под разрывами, спокойно

отдавать команды и посасывать бестабачную трубку. Позер немножко Андрюша Рогозин, но не трус, н-не-ет, не трус... Горькавенко только на вид вялый. В нем затаенная взрывная энергия. Бой он проведет бурно, но без раздражающей суеты. Не будет суетиться и Васин, артмастер, а теперь командир орудия, только крепче станет крестить святых угодников... Младший лейтенант Коркин? Витька? Он бледнеет, в бою у него трясутся губы, трясутся до того момента, пока, забыв об обязанностях взводного, не оттолкнет наводчика и сам не встанет к панораме. Прямые выстрелы у него точнехоньки...

— Комбат, гудит что-то.

Это присел к нему сержант Горькавенко. Он еще прежний Горькавенко — увалистый, будто переел сытной пищи. Руки в мазуте, он вытирает их грязной ветошью.

— Откатник подтекал, подтянули с Васиным,— поясняет Горькавенко.— Слышите? Гудит...

Пятницкий уловил принесенный движением воздуха отдаленный гул, схожий теперь с шумом затерявшейся в чащобе порожистой речки. Он подобрал ноги, резко поднялся. Слева, где сорокапятки, громко, на все поле, крикнули:

— К бо-о-ю!

И снова тишина. Плотная, давящая на мозг тишина. И внезапно в этой напряженной тишине мирный, будто на колхозном дворе, причмокивающий голос:

— Н-но, милая!

И скрип, обыкновенный тележный скрип.

Горькавенко, смешливо подергивая ноздрями, принялся.

— Огиенко. Кашу везет.

Огиенко, пятидесятилетний ездовой, оставался в тылу и за писаря, и за старшину, и за повара. Работящий, исполнительный мужик спокойно, с хозяйской рачительностью делал все, что на него сваливалось.

Термоса быстро растащили. Огиенко в старенькой, с подпалинами и сборками на животе шинели подошел к Пятницкому.

— Я остаюсь, комбат,— сказал он, для чего-то перекладывая гранату-лимонку из левого кармана в правый.

Он не спрашивал, он ставил в известность. Он сказал это так, что невозможно было возразить, приказать что-то вопреки сказанному этим далеко не молодым человеком

— Ладно, Иван Калистратович, идите к Васину,— недовольно сказал Пятницкий.— С повозкой пусть Курловича отправит.

Через минуту, как ушел Огиенко, прибежал писарь Курлович. Растерянный, возмущенный, взъерошенный и ужасно официальный.

— Товарищ лейтенант, разрешите обратиться. Вы не смеете! Это, это...

— А чтоб вас. — Пятницкий неожиданно для себя сказал нехорошее слово, хотя сказать хотелось — и надо было сказать — самые хорошие, какие только есть на свете слова.

Повозку отправили с раненым пехотинцем

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Только заглох стукоток повозки по булыжникам, с тылу затарахтел мотоцикл. Прикатил начальник разведки дивизиона старший лейтенант Греков. Бодрый, сияет. Выпил, что ли? В дивизионе ни у кого нет мотоцикла, у него есть. Трофейный. Однажды даже «оппелем» обзавелся. Вытряхнули Грекова, «оппель» отдали в автобат.

— Как дела, седьмая? — неуместно для этой обстановки Греков большеротого улыбался.

— Как сажа бела,— хмуро отозвался подошедший сержант Кольцов.

— Во, выскочил. Не тебя спрашивают, отделенный,— махнул на него Греков кожаной рукавицей.

Роман поздоровался за руку, доложил, что все, что требовалось, сделали, теперь дело за немцами.

— Где они? — спросил Грекова.— Минут десять, как слышу.

— Соскучился? Близко. Ты, это, за фланги не беспокойся. Слева двадцатая пушек наставила — плюнуть некуда, а справа наша гаубичная и пушки первого дивизиона. Я туда сейчас.

Греков не слезал с мотоцикла, только ногу на землю поставил. Теперь нацелился педаль давить, поднял колено, но спохватился.

— Да, чуть не забыл. Замполит полка нашему парторгу разгон давал. Маринует заявления в партию. О тебе говорили.

От этих слов Роману горячо стало.

— Черкани быстренько, я подожду. Парторг просил.

Роман помолчал немного и медленно сказал:

— Н-не сейчас. Потом...

— Что так?

— Что я с бухты-барахты.

— Малоподкованный, что ли? — засмеялся Греков.— Или рекомендации дать некому?

— Рекомендации будут, старший лейтенант! — озлился на веселость Грекова парторг батареи сержант Кольцов.

— Вот, одну Кольцов дает. Дал бы и я, да не примут комсомольскую,— колыхнулось в смехе рябоватое лицо Грекова.

— Будет и другая. Немец... даст.

Кольцов сказал это таким тоном, что Греков поначалу растерялся, а когда дошло, выпалил:

— Во, это рекомендация! Глядишь, опять в газете напишут.

Теперь и Роман рассердился:

— Катись-ка ты отсюда, Греков.

— Нет, серьезно, что я парторгу скажу?

— Да пойми ты, некогда! — вконец разозлился Пятницкий.— Ты и так у меня уйму времени отнял.

— Во, бешеный! — потаращился Греков и, едва не вздыбив своего коня, умчался.

Роман стоял недвижно, слушал удаляющийся шум. Но шум не затухал, даже становился громче. Обратно, что ли, повернул, неразумный?

Да нет, не мотоцикл это, и не шум уже, а гул. Теперь не рокошующий, а похожий на весенние громовые раскаты — то затухающий, то усиливающийся.

при напоре ветра. Он близился, становился различным по звуковым оттенкам моторов, гусениц. Роман беспокойно насторожился. Возбужденно исказились мышцы лица-Вдохнул глубже, крикнул протяжно и властно:

— К бо-о-о-о-ю-ю!

Замелькало, задвигалось около орудий.

Танки не видны. Они там, в низине.

Заглатывая снаряды, лязгнули затворами пушки. Люди перестали мельтешить, замерли у заряженных орудий, ждут накаленно. Наводчики стоят в полный рост, смотрят вверх щитов.

Пятницкий перебежал к орудию Васина. Никто на его появление не обернулся. Слушают, ждут. Здесь же старшина Горохов — заряжающим. Санинструктор Липатов, ездовой Огиенко, писарь Курлович, повар Бабьев — тоже в расчете Васина. Все хозотделение под себя собрал.

Глаза у Горохова сужены, злые, мешковатое брюшко подтянуто. У ящиков с подкалиберными возится Липатов, передвигает их, устраивает поудобнее. На плащ-палатке лежит расстегнутая сумка с красным крестом. Смертной тоской повеяло от загодя раскрытой санитарной сумки. Почти слепой на один глаз, писарь Курлович сидит тут же. По-птичьи скосив голову, он протирает остроконечные, в талии перетянутые снаряды. Весу-то в снарядишке три килограмма с граммами, а на дальность прямого выстрела лучше не подходи, шестьдесят миллиметров брони — как в масло.

Блестит снаряд, блестит гильза, а Курлович, прихваченный ожиданием того, что должно вот-вот произойти, все трет и трет.

Огиенко с крестьянской основательностью сморкается, аккуратно складывает платок. Васин вытянул худую, как у гусенка, шею, прищуренно вглядывается вдаль, шепчет привычные матюки.

Надо что-то сказать солдатам, но что? Чем встряхнуть? Пятницкий посмотрел на Курловича и тихо бросил ему:

— До дыр не протри, неразумный, порох из гильзы высыплется.

Курлович, сглотнув спазму, заморозил болезненную улыбку.

Огиенко снова достал платок. Васин, перестав смотреть туда, куда стволом указывает пушка, поморщился на него и посоветовал:

— Помалу сморкайся, надольше хватит.

Пятницкий бросил взгляд на соседнее орудие. Там на трубчатой станине сидит Горькавенко, придирчиво осматривает каждую деталь прицела и дурашливо тянет:

— Милый дедушка Константин Макарович, заberi ты меня отседа... Буду табак тебе тереть...

Не перегрелись бы нутром, не истлели раньше времени.

Ожидание боя сминает прямо физически, люди безотчетно ищут выхода из этого состояния. Курцы потянулись за кисетами, запалили самокрутки. Ладно, что уж тут...

Ждали, контролировали каждый миг, который послужит началом, разорвет нервное состояние, и все же начало было внезапным. Расколов тишину, ударив в уши, слева донеслись учащенные выстрелы десятков стволов — это с металлическим тембром заговорили «зисы» соседней дивизии. В их скорую, непереставаемую пальбу вмешались такие же частые

выстрелы сорокапятков. Сухо и зловеще прозвучали ответные выстрелы вражеских танков. Пятницкий различил среди них редкие, с подземной приглушенностью выстрелы из стволов калибром восемьдесят восемь. Сомнений не оставалось — немецкий танковый корпус был оснащен и «тиграми».

Нет, не перегрелись, не истлели нутром пушки Пятницкого. Побросали сигарки и враз оказались в той позе готовности, в которую поставила начальная команда «К бою!». Так и стояли в напряженной бездвижности, пока слева, за возвышенностью, не увидели маслянистые, с коричневыми прожилками дымы, сносимые в их сторону. Васин не удержался:

— Горят, недоноски! Отломилось!

Пушки оживились, стали веселее поглядывать друг на друга. На лице Курловича с обнаженной четкостью высвечивалось: «Может, мимо пронесет?»

В окопчике Савушкина опять зазуммерило. Женя, уже осведомленный в чем-то, что порадовало, но и в сомнении — не рано ли радоваться? — робко улыбнулся, протянул Пятницкому трубку и, сказав: «Капитан Сальников», стал выжидающе прислушиваться.

— Композитор, жив? — спросил Сальников.— Танки вышли на участок двадцатой. Не снижай готовности, жди своих.

Так и есть — рано и нечему радоваться.

Прошел час, другой. Не было «своих», не слал их немец для батареи Пятницкого, и Пятницкий через каждые четверть часа докладывал на КП дивизиона:

— Бой слева, у нас пока тихо.

Внутреннее беспокойство оставалось. Хотелось уйти от него, отвлечься другой мыслью, но мысль пришла не сторонняя — выпнулся разговор с Грековым. Как он сказал? «Опять в газете напишут». Подтрунивал, что ли? Не похоже. Завидовал, скорее всего. Напишут... Написал ведь тот, который на Алле у Коркина допытывался, чего и сколько батареей уничтожено. Откуда только выудил такое. Два «фердинанда», шесть пулеметов, до роты противника.. Черт с ним, с этим, из документов, из сводки, может, какой позаимствовал, но зачем выдумывать: «Отважный артиллерийский разведчик, когда немцы вплотную приблизились к его наблюдательному пункту, из личного оружия застрелил семерых гитлеровцев...» Ишь как! Даже наизусть запомнилось... Из личного... Из ТТ, что ли? Но ведь с пистолетом Степан Данилович на линию ушел. Если из автомата, то одного, это точно. Почему семерых-то? Гранатой? Кто видел -сколько? Может, ни одного... Напишут... Что на этот раз напишут? Стояли насмерть? Геройски погибли?

Смрад горелой солянки, перекаленного железа и тротиловой копоти, накатившийся на батарею Пятницкого, развеивался. Бой, по звукам, уходил в сторону — туда, откуда пришли танки, стал приглушенней. А вскоре повеселевший голос Сальникова известил:

— Пятницкий, давай отбой. И не обижайся за композитора.

Тут-то, когда надо было извлекать из утроб орудий так и не использованные снаряды, укладывать их в ящики, чехлить пушки, вызывать из укрытий машины, загружать их, заботиться, чтобы славяне не забыли ни одной лопаты, не затеряли мешающие в бою противогазы,— вот тут-то

Пятницкий увидел, до какой степени истомлены его люди, не сделавшие ни одного выстрела, насколько измучены его орлы-пушкاري. Физически истерпанные, они сидели на станинах, снарядных ящиках, просто на земле и бездумно наслаждались гудящей в теле усталостью.

Только лейтенант Рогозин был неестественно оживлен. Он присел на корточки возле провалившегося в забытие Пятницкого, тихонько толкнул его в плечо и, вынув изо рта трубку, сказал ссохшимся голосом:

— Роман, я вспомнил «Сомнение». Послушай.

Взбодлив кашлем дыхание, Рогозин стал насвистывать ошеломляюще неуместную сейчас, берущую за душу мелодию.

Роман послушал и сказал, тоже некстати, об ожившем в подсознании:

— Парторг дивизиона говорит, чтобы заявление в партию...

Рогозин без труда разобрался в состоянии комбата и отреагировал так, будто разговор у мотоцикла происходил с ним, а не с Грековым:

— Давно пора. Считай, что моя рекомендация у тебя в кармане.

Пятницкий измученно улыбнулся:

— Спасибо. Вот уже две. Одну Кольцов обещал.

А сколько надо? Две или три? Кто может дать третью? Вспомнил командира полка и убежденно решил: «Он, Григорий Петрович, даст». Сказать Андрею? Роман помял ладонью лицо, сказал устало:

— Поспать бы, Андрюха, а?

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

По нашим понятиям, Розиттен — самый настоящий хутор: домишко на три комнаты да несколько хозяйственных построек, но на «пятидесятитысячной» под условным знаком стояли мелконькие буквы «г. дв.», что означало — господский двор. Младший сержант Васин разъяснял эти сокращения по-своему. Но дерьмовым Розиттен с его кирпичными постройками и ухоженным садом ни с какой точки зрения не назовешь, тем более с военной — с полуночи за него бились. Немцы оставили Розиттен только на рассвете, когда соседний полк взял такой же господский двор Вальдкайм и навис над левым флангом частей, оборонявших Розиттен.

Ушли немцы поспешно, даже походную кухню бросили — на потеху одному дураку в обмотках. Сунул болван противотанковую гранату под крышку котла и заорал блажным голосом:

— В укрытие! Сейчас рванет!

Рванула вначале военная братия: кто за сарай, кто среди сучьев, срезанных осколками, растянулся — не хватало еще от забавы недоумка погибнуть. Кухню раздернуло бутоном, окутанные паром и дымом макароны повисли на кустах и деревьях. Так смешно, так смешно — живот надорвешь. Только смеяться никому не хотелось — взялись шутника разыскивать. Отыскали, потолковали маленько. Теперь, когда целиться будет, прищуриваться не надо.

Пятницкий пришел в Розиттен чуть позже этого спектакля. Поспешил к сараю, заранее присмотренному для наблюдательного пункта. Скорей бы на крышу взобраться. Знал, сейчас пехоту вперед выпихивать будут, успех развивать. А как его разовьешь, если впереди два километра поля без единого кустика, а за ним новый «г. дв.» под названием Бомбен! Без артиллерии, как

ни выпихивай, далеко не выпихнешь, на первой же меже залягут. Пристрелку быстрее надо.

На покалеченную, расшатанную взрывами крышу взобраться не удалось. Устроился на остатках сеновала. Разведчик Липцев с Женей Савушкиным быстро подтянули кабель с огневой, обеспечили связью.

Вытаскивать батарею в Розиттен не имело смысла. Для прямого выстрела Бомбен недосыгаем, а раз так — лучше с закрытой. Пятницкий указал огневику место посреди поля зеленеющей озими — метрах в пятистах от хутора. Не ахти как хорошо на открытом всем ветрам поле, но иного выхода не было. Зато вот она, батарея, с НП — как на ладони, а для немцев... Хоть и ободрало деревья минувшим боем, но не настолько, чтобы с той высоты, на которой вальяжно расположился Бомбен, разглядеть его батарею.

Неподалеку от огневой Пятницкого, где установкой пушек распоряжался Коркин, стала окапываться полковая батарея пятидесятисемимиллиметровых орудий. Большеголовый старший лейтенант в длинной шинели и со шпорами на брезентовых сапогах, отправив упряжки в укрытие, тоже прибежал в Розиттен. Досадливо посмотрел на Пятницкого: видимо, как и Роман, планировал для НП этот же сарай. Можно было бы и рядом с Пятницким, но и рядом проворонил — опередил командир минометчиков. Вот он — подгреб уцелевшее сенцо под себя, щурится, пригретый солнышком.

Пехоту и впрямь пихать стали, подстегивать по телефону. Пятницкий мельком видел Игната Пахомова, еще каких-то пехотных офицеров, тоже, как и большеголовый, бегают, суетятся. Ну, суетятся, это непосвященному кажется.. Делают каждый свое, и то, что надо, быстро делают, поэтому в общей массе и похоже на суету.

С подготовкой исходных данных Пятницкий управился скоро, хотел было за пристрелку браться, команду на огонь подавать. Оглянулся еще раз на хорошо видную батарею — вот она, аж душа радуется, но представил зрительно траекторию, и душе этой не до радости стало — мурашки по коже. Розиттен в створе огневой позиции и занятом немцами Бомбена, по которому собрался стрелять, а деревья в Розиттене метров на пятнадцать вымахали! Как можно забыть про гребень укрытия! При этом прицеле...

Пятницкий торопливо, волнуясь, произвел расчеты и, глядя в сторону огневой, выискивая глазами Коркина, сердито покачал головой. Н-ну, Коркин, н-ну, Витя... Бить тебя некому, и мне некогда. При этом прицеле — прямо по кронам. Первым же снарядом славян, что за стенками сараев передышку устроили, перекалечишь. Придется орудия метров на триста назад откатить. Вот уж поматерятся огневики от новой, некстати свалившейся работы! «Студебеккеры» в рощу отогнали, пока вызовешь. Не-ет, никаких машин: на руках, только на руках, и как можно поспешнее. И снаряды на руках, хоть несколько ящиков, потом Огиенко на подводе перевезет. Крутнулся к связисту:

— Савушкин! Женька, трубку!

Схватил трубку, вызвал Коркина.

— Коркин, назад батарею! Слышишь? На триста метров. Гребень укрытия не позволяет. Торопись, Витя, потом ругаться будешь..

И без того не сладко на батарее, вставшей среди паханного и засеянного с осени поля, а тут. Что-то опять начал Коркин. Пятницкий взбесился прежде всего на себя: взводного, как девицу, уговаривает.

— Товарищ младший лейтенант, выполняйте приказ! Через десять минут доложить о готовности к открытию огня! Все!

Побурев, бросил трубку Савушкину. «Надо же, какой комбат стал»,— испуганно подумал Женя. А Пятницкий все кипел: Коркин старший на огневой, он должен наименьший прицел рассчитать и доложить командиру батареи. Раззява... Да и сам хорош, напомнил бы. Что касается срока — десять минут... Ничего, бойчее шевелиться будут.

Коркин сознавал свою вину, зашевелился. Шуганул расчеты к орудиям. Кинулись, покатили. Вязкая земля, не вышедшая в трубку озимь наматываются на колеса, утяжеляют орудия, но ребята катят, тужатся, из сил выбиваются, но катят. Глядя на эту картину, Пятницкий распорядился передать на «Припять», чтобы от нитки не отцеплялись, держали связь на ходу. Но и этого мало. Взял у Савушкина трубку.

Коркин, позади вас небольшой участок кустарника, вербы, кажись, это место для первого орудия. Бегом с bussолью туда. Данные от этих кустов пересчитаю. Понял? Действуй!

Ошибку с выбором огневой Пятницкий заметил вовремя, предотвратил беду, но во что может вылиться смена позиции — и в ум не пришло. Рокировка орудий привлекла внимание какого-то пехотинца, и он понял маневр по-своему. Заорал:

— Пушкири драпают!

Да так заорал, будто ему в копчик неношеным сапогом пнули. Уж не тот ли, которому глаз заузили? По второму бы ему сейчас, чтобы поменьше видел.

Немцы, можно подумать, услышали взбалмошный крик, подогрели его — ударили по Розиттену из «скрипачей». Затрещали деревья, в щепки разнесло пароконную двуколку, лошади запутались в упряжке и, волоча за собой дышло, с ошалелым ржанием понеслись в дыму через развалины скотного сарая.

К наблюдательному Пятницкого подбежал офицер в развевающейся плащ-палатке, выхватил пистолет, заорал что-то непонятное, плохо слышное на сеновале. Неужели и он подумал, что пушкири драпают? Кипит, аж пар идет.

Пятницкий спрыгнул с возвышения и увидел возле своего носа ствол пистолета, услышал захлебистые матюки:

— Сейчас же верни батарею! В пехотную цепь орудия! В цепь! Немедленно!

Такому и не объяснить сразу, такого еще успокоить надо. А успокоить — только глотка на глотку, такого психа только глоткой возьмешь.

— Замолчать!!! — взревел Пятницкий, заранее настроившийся на этот крик. Так взревел, что в кашле зашелся.

Плащ-палатка сползла с плеча офицера, обнажила мятый-перемятый капитанский погон. Пятницкий было оробел, смутился своего нахальства, но преодолел себя, снова повысил сорванный, осипший голос:

— Не паникуйте, капитан! И не суйтесь не в свое дело!

Теперь впору капитану оробеть, каблук соединить, подпрячиться в своем невеликом росте. И он впрямь шевельнулся, сделал попытку к этому. От властного крика могли же звездочки Пятницкого до подполковничьих увеличиться. Нет, не спутал лейтенанта с подполковником. Спятиса шага на три, выдавил растеряннo и злобно:

— Я т-тебе покажу, я те ..

И просвет один видел, и звездочки невеликие, коли такое выдавил. Просто сказалаcь военная косточка. Похоже, не ох как любил капитан выслушивать обалдевшее начальство. Что из того, что лейтенант. Если из корпуса или, не дай бог, из армии, то и лейтенант похлеще иного полковника бывает.

Капитан поспешил к полковым артиллеристам. На шум прибежал майор Мурашов. Измененного в лице Пятницкого узнал не сразу, а когда узнал, спокойно спросил:

— Что произошло, лейтенант?

Пятницкий задрал голову на верхушки деревьев:

— Гребень укрытия для моих «зисов» велик, а с их зарядом,— указал на полковую батарею,— саданут и всех тут покалечат. Надо менять позицию.

— Ключин! — повернулся майор к вестовому.— Пулей туда, чтобы...

Ключин не пуля и не снаряд. На поле за Розиттенoм, там, где утвердилась батарея пятидесятисемимиллиметровых орудий, ахнуло, а через секунду — промежуток, нужный снаряду, чтобы пролететь шестьсот метров,— ахнуло прямо над головами солдат, в ветвях древнего дуба. Посыпались сучья, черепки кровли. Солдат, возвращавший битюгов, всполошенных обстрелом «скрипачей», бросил поводья, приседая, схватился за враз окровеневшую голову. Мурашов чертыхнулся сквозь зубы, крупно пошагал за развалины.

Проклиная неловкие в беге и жаркие для весеннего дня ватные брюки, Пятницкий догнал Мурашова. Большеголовый старший лейтенант и капитан, под напором которого этот старший лейтенант успел выпустить пристрелочный снаряд, перестали размахивать руками, замолчали. Щуплый капитан подал Мурашову руку, а владелец длинной шинели и брезентовых сапог со шпорами настороженно устоялся на свое непосредственное начальство. Мурашов хмурo посмотрел на старшего лейтенанта, бросил язвительно:

— Отличился? Отправляйся менять позицию.— Повернулся к капитану: — А ты почему здесь, Заворотнев?

Роман остановился в двух шагах, посмотрел на умаянного, растерянного капитана Заворотнева и подумал: «Полезет— вон в те кусты запросто кину». Но заляпанный грязью малорослый капитан не намерен был продолжать ссору с Пятницким. Только качнул головой с укором, усмехнулся, показывая вставной, самоварного блеска зуб. Где-то видел Роман этот зуб.

Мурашов сказал Пятницкому:

— Знакомься, артиллерист,— зам по строевой из третьего. Заворотнев. Их батальону вон там надо быть, а он тут околачивается, моей артиллерией командует.

Теперь Роман вспомнил, где видел золотой зуб — под Фридландом, роту этого капитана поддерживал. Тогда Заворотнев ротой командовал. Не встречались больше.

Зам по строевой из третьего пропустил замечание насчет того, где ему быть положено, сверкнул примирительно зубом.

— Ну, лейтенант, ты даешь! Не мог по-человечески-то?

— Вам надо было по-человечески. Один обормот завопил — и вы туда же. Капитан перестал улыбаться, повернулся к Мурашову.

— Недолго припадочным сделаться. Нет хуже славянам остаться без артиллерии, а пушкари, изволь радоваться, сразу четыре пушки назад поперли. Хоть бы растолковал, а то как с цепи сорвался.

— Ты-то почему здесь, Заворотнев? — повторил свой вопрос Мурашов, не получивший ответа в первый раз. Может, и не нужен был ответ, спросил, чтобы сказать следом: — Не трать время, пужни свою братву в окопы, мои уже за селом. Иначе немец скоро всех тут перемолотит.

Это верно, надо и Пятницкому от сеновала подаваться. Натура у человека такая — к хатам прижиматься. Где-то этого не оспоришь, а здесь, на переднем крае, надо ломать натуру, иначе немец такого наломает.. Подождет, пока иваны поднапрутся, помедлит, чтобы немного разгулялись, осторожность свою, внимание утратили, остерегаться перестали — и врежет всем, что имеет в наличии. Напрасно, что ли, мины кидал, из шестиствольных пристрелочный залп сделал.

В стороне, где медсестра бинтовала только что раненного, собралась группа солдат Костерят артиллеристов, но беззлобно, по въевшейся пехотной привычке и больше для красноречия, чтобы обратить на себя внимание сестрицы. А ей не до их зубоскальства. Немолодой солдат, но и не старый еще, страдальчески скукожился, допытывается — шибко ли задело. Сестра успокаивает:

— Не волнуйся. Кожу да клок волос. Просто ударило больно.

Раненый огорченно помотал головой, у сестры даже бинт из рук выпал

— Ай-я-яй...

Не волновался солдат, что тяжело ранен, надеялся, что тяжело. Потому ответ не утешил, огорчил его.

Боец в расстегнутой шинели, с автоматом, перекинутым через плечо дулом вниз, ехидно скривил губы.

— Тебя, Боровков, весна отравила. В госпиталь тебе захотелось, на простыню стирану, чтобы утку и сестру на минутку. Ничего у тебя не получится. В санбате еще разок помажут йодом и назад в роту пошлют.

— Конечно, назад завернут,— поддержал тонконогий солдат в обмотках и продолжил мечтательно: — А хорошо бы в госпиталь... Весной-то щепка на щепку плывет, а мы люди все же, живые покуда...

Пятницкий взгляделся в Боровкова. Щеки всосаны, нос острый, над правой бровью вмятина от прежнего ранения, из-под бинта седые пряди торчат, слиплись от крови.

— Чего мелют, чего мелют,— обиженно бормотал Боровков. Увидел майора Мурашова, к нему обратился: — Скажите, товарищ майор, разве я что плохое задумал? Ведь одиннадцать ран на теле моем. Сколько можно... Примериваются, примериваются — да и убьют когда... Если сильно пораненный, можно и полечиться. Кто запретил лечиться? А они — про весну, про щепки... И никуда я не пойду, шибко нужен мне этот медсанбат. Перевяжет сестричка — спасибо ей,— и довоюю перевязанный.

Пятницкий подумал: «Доведись до меня — отпустил бы Боровкова совсем с фронта. Хватит с него. Вон. уже от своих попало...»

Вздыхнул горько, с болью сердечной: «Неразумный ты, комбат Пятницкий. Если всех таких отпускать...»

Козырнул Мурашову, побежал по своим делам, свои ими заботами заниматься.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Умеют немцы отступать, умеют, сволочи. Бросили Розиттен — и до Бомбена. Нате вам два километра голого поля, а мы за кирпичными стенами заляжем, бойницы в них понаделаем, окопы до полного профиля доведем — те самые, что загодя нарыты. Идите, суньтесь.

Первая атака захлебнулась в километре от Бомбена. Пехота расползлась, укрылась в межах, воронках, ямках всяких, лопатами да касками перед собой бугорки наскребли.

Командир роты Пахомов и поддерживающий второй батальон лейтенант Пятницкий устроились за буртом бурака. Игнат выковырнул из-под опрессованной соломы корнеплодину с полпуда весом, очистил кинжалом и спросил Пятницкого:

— Роман, хочешь немецкую фрукту-брюкву?

Сморенный Пятницкий, привалившись к бурту, перематывал портянку. Отозвался:

— Давай.

Как ни старался Игнат сделать дольки чистыми, все же не смог: руки не оттерлись ни шинелью, ни соломой и оставляли на свежих срезах брюквы грязные следы. Наткнув порцию на кинжал, протянул товарищу и посоветовал:

— Ромка, ты поплюй да об рубаху нижнюю.

— Ничего, так сойдет,— вяло улыбнулся Роман и пытливо поглядел на Алеху Шимбуева.

Шимбуев и Женя Савушкин ковыряли землю малыми саперными и выдолбили окопчик чуть выше колен. Употевшие под пригревающим солнцем, они были без шинелей. Шимбуев заметил взгляд комбата, вытер мокрый лоб и принялся отстегивать фляжку.

— Тут много. Товарищу командиру роты тоже хватит.

Игнат покосился на своих присных, одному сказал с намеком:

— Учись, Вогулкин.

Автоматчик, он же связист, связной, ординарец и еще черт знает кто по совместительству,— Вогулкин этот хмыкнул:

— Где уж нам уж выйти замуж..

— Вот и ходи холостой,— простецки зацепил его Пахомов,— а я выпью.

Выпили понемногу, соблюдали дозу, но так, чтобы спиртная веревочка другим концом до брюха достала, а не только во рту помочила. Погрызли сочный бурачок — закусили. Роман глянул под рукав, сказал больше для себя:

— Скоро начало.

Игнат расставил сапожища пошире, налег грудью на борт, прицелился в Бомбен биноклем. Сказал, не оборачиваясь:

— Слышь, Ромка, а ведь они, по правде говоря, не пустят нас туда.

— Попроси получше, может, и пустят.

Пахомов бросил бинокль на грудь, крутанулся к Роману, показал злое, в мышечных буграх лицо. Попадись в такой момент мастодонту—надвое переломит.

— Ничего, Ромка, не такое брали и это возьмем. Кровью блевать будут!

Эти слова холодком скользнули по хребту Жени Савушкина, копать перестал. Покосился на Пахомова, скашлянул, опять за лопатку взялся. Ковырнул несколько раз, потом уж, вспоминая сказанное Пахомовым, весело оскалил зубы. В этой веселости и увидел ползущего сбочь заросшей бурьяном межи солдата. Шлепнул Шимбуева лопаткой по задку.

— Алешка, глянь, ишак на коленках идет.

Шимбуев бросил лопатку и в два прыжка оказался возле ползущего, сдернул с него тяжелый мешок, помог подтянуть до борта. Пахомов строго спросил подносчика патронов:

— Почему так поздно?

Солдат тяжело дышал.

— Я бы раньше... Расфасовать вот...

— Рас-фа-со-вать! За прилавком работал? — повеселели глаза у Игната.

— Н-не. Я грузчиком в аптеке, в складе,— уточнил подносчик.

— Поскольку же расфасовал?

— По четыре пригоршни. Штук по сто будет. Мы со старшиной какие-то тряпицы фрицевские изрезали, узелков наделали,— обстоятельно докладывал солдат, развязывая мешок и показывая как образец аккуратный, с заячьими ушками узелок из плотной материи.— Ялдаш да Ванька Ившин в третий и второй взвод потащили, л я к вам. отсюда к первому поползу.

— Никуда ты не поползешь, без того язык вывалился. Смотреть на тебя, по правде,— только настроение портить.— Игнат пригнулся, взял узелок.— Что вот так вот сделал — молодец. Вогулкин! Шумни по цепи, пусть из первого за патронами пришлют.— Протянул Шимбуеву узелок.— Как тебя? Алешка, что ли? Возьми себе, поди, только о водке заботишься.

— Что вы, товарищ комроты,— обиделся Шимбуев и ткнул лопаткой в свой сидор. Глухо звякнул металл о металл.— Полная цинка, еще гранат сколько-то.

— Запасливый,— похвалил Пахомов Шимбуева и тут же, толкнув его в начатый окопчик, крикнул хлесткое

— Ложись!

Немецкий пулемет трассирующей струей давно шарил вдоль дорожной посадки и теперь, растревожив прошлогодний бурьян на меже, подбирался к ротному НП. Взрыхливая землю с недолетом, пули рикошетом вонзались в бураки. Тесно прижавшись друг к другу, Шимбуев и Савушкин лежали в

окопчике на спине, смотрели в бездонное синее небо и о чем-то тихо переговаривались. Слышно было, как там, на высоте, невидимо скручивая воздух, в сторону Бомбена прошел снаряд, следом донесся отставший звук гаубичного выстрела.

Встревоженный Пахомов кинул взгляд на часы, потом на Романа. Дескать, что они ни с того ни с чего, рано ведь. Пятницкий успокоил:

— Все нормально, Игнат. Утреннюю пристрелку проверяют.— Пятницкий посмотрел на оседающую в Бомбене кирпичную пыль и добавил: — Наша, девятая гаубичная. Проверю и я свою. Женя, тряхни огневую.

Женю Савушкина невозможно было представить без телефонной трубки. Она и сейчас лежала возле его уха

— Младший лейтенант у аппарата, товарищ комбат,— подскочил Женя.

Роман спросил о готовности батареи, услышал, что на огневой позиции все в порядке, и распорядился:

— Витя, кинь фугасный первым орудием, посмотрю. Да-да, по первому рубежу.

Пятницкий подошел к бурту, прислонился плечом к Игнату, кивнул подбородком в сторону Бомбена

— Смотри между сараев.

— Посмотрю,— приложился Пахомов к окулярам. Землю вскинуло с небольшим недолетом. Полагая, что Роман огорчился результатом, Пахомов сказал:

— В самый раз. У них окопы там.

На окраине господского двора, поодаль от водонапорной башни, возникло еще несколько одиночных разрывов. Это уже минометчики не удержались и проверили, как налажены их «самовары».

Игнат опять посмотрел на часы, перчаткой, как веником, помахал по лежащему на бурте автомату, скинул с него соломенную труху. Что бродило в голове Игната — один бог знает, только мысли вильнули куда-то, разбередили больное. Сказал:

— Кольку Ноговицина в Каунас увезли, на центральной площади похоронили.

О чем еще мог думать командир роты перед атакой? Как одолеть это пространство? Как зацепиться хотя бы за оградку? Как строить бой потом? Об этом он уже думал и передумал. Видно, и другое в голову пришло: о новых мертвых, которые обязательно будут и которых не повезут ни в Каунас, ни в другой какой город. Где-нибудь здесь похоронят, может, в этих же недорытых окопчиках, только если не поленятся, малость углубят. Не исключено, что Игнат и на себя со стороны посмотрел, посоображал тоскливо, где его зароят, когда жизнь кончится. Кончиться ей хоть сегодня, хоть завтра — совсем немудрено...

— Игнат, с первой цепью пойдешь? — спросил Пятницкий.

Игнат отщелкнул диск автомата, надавил пальцем на выглядывающий патрон. Патрон лишь чуть-чуть подался. Успокоенный Игнат водворил диск на место и ответил:

— Прослежу, как дойдут до тех вон поваленных столбов, потом уж.

— Я здесь останусь, Игнат, пока не ворветесь. Ты не подумай чего...

— Балда! — гневно сверкнул глазами Пахомов.

— Я перекатом. Со взводными продумано все.

— Хватит, Ромка, — оборвал его Пахомов. — Говорили — и хватит!

Пахомов хотел снова глянуть на часы, да не успел. В точно установленное мгновение по высоте с господским двором открыла огонь артиллерия. Бомбен быстро утопал в глинистой пыли, взвихренном мусоре слежалых листьев, в крошечке земли и кирпича, в ватно клубящемся дыме.

Пехота враз рванула из своих окопов, окопчиков, ямок, воронок. Солдаты, горбатые от вещмешков, бежали с быстротой, кто на какую способен. За канонадой артподготовки не было слышно привычного возбуждающего рева. Даже ДШК, бьющие разрывными с флангов, и выскочившие из дальних кустарников счетверенные пулеметные установки на «доджах» казались безмолвными.

Игнат сунул в карман фланелевые перчатки, чутко, совсем немного оттянул затвор автомата, проверил на слух — загнан ли патрон в патронник. Не глядя на Пятницкого, крикнул, чтобы слышно было:

— Ну, бывай, Ромка!

Шагов через двадцать обернулся, поднял автомат на вытянутую руку, потряс им.

Роман, чтобы лучше видеть не только Бомбей, но и дорогу, продвинулся к правому краю бурта. По возне за спиной понял: догадливый Женя Савушкин подтянул аппарат поближе. Роман взял трубку, натеплившуюся от руки Жени, не спуская глаз с поля боя, спросил в микрофон:

— Коркин? Машины готовы? Через десять минут цепляй.

Через десять минут первый взвод прекратит стрельбу, «студебеккеры» подхватят две его пушки — и на участок третьего батальона, к левому срезу парка, где есть довольно сносные укрытия. Неважно, что участок совсем другого батальона. В самом Бомбене участки метрами мериться будут. Там, в скученности, и вовсе не придется разбираться, кто кого поддерживает.

С этим взводом на прямую наводку пойдет Андрей Rogozin. Как только пехота зацепится за окраину или ворвется внутрь селения, Пятницкий прекратит стрельбу вторым взводом с закрытой позиции и как можно быстрее переместит наблюдательный ближе к пушкам Rogozina. Переброска двух «зисов» второго взвода к Бомбену — на совесть Витьки Коркина.

Не первый бой, не раз уже испытано, а все равно ждешь от артподготовки чуда. Но откуда оно, чудо? И теперь вот. Ведь все вроде разнесли в Бомбене к свиньям собачьим, ан нет — стучат несколько пулеметов. Из-за дыма, из-за всего, что обрушилось на немцев, бьют пулеметы пока не очень прицельно, но и не совсем попусту: рота младшего лейтенанта Пахомова заметно редела. И все же шла, не останавливалась, залегала и вновь поднималась, вот-вот войдет в зону поражения наших снарядов. Пора об удалении огня позаботиться. Роман крикнул в трубку:

— Припать. По второму рубежу!

Перебросили огонь и другие батарейцы. Корпусные орудия давно уже долбили противника на дальней окраине Бомбена, где господский пруд, где кладбище с господскими могилами. Полковые пушки на конной тяге помчались вдогон пехоте. Хороши все же трофейные першероны. Не очень

резвы, зато из любой болотины вытянут. Вот только на поле-то голое слишком отчаянно, опрометчиво. Уж не тот ли старший лейтенант со шпорами верховодит? Да что там упрекать — опрометчиво! Его, Пятницкого, орудия — вон они жмут, аж подпрыгивают на неровностях — разве скрытнее на дороге? Только и утешения, что липы по обочинам. Лыко, что ли, с них драть? Врежут немцы по кронам, и лыко, и куль рогожный — все будет.

Заскрипело, заныло, окутало дорогу молочным дымом Сыграл шестиствольный! Вот еще разок. Теперь другой — в те шесть труб еще мины затолкать надо. Роман закрыл глаза до боли, до светлячков. Андрей, как ты там, родимый?!

Из дымного облака вырвался один «студебеккер», другой. Пушки... Целы пушки! Подпрыгивают, мотаются на крюках, но целы. Так-то, фриц неразумный, бьешь ты здорово, метко бьешь, да не пофартило тебе на этот раз. Вон и головы хлопцев, пригнутые при обстреле, показались над бортами. Все ли здоровы, хлопчики?

О-о, как рванул головной «студер»! Колька Коломиец, черт конопатый, жмет. Не съюзило бы, не занесло в кювет. Нет, пронесло...

Надо бы успокоиться, но нервная дрожь не унимается. Христос с нею, уймется. Скорее туда, за Рогозиным. Пятницкий отжал клапан трубки.

— Припятть!

Нормально, слышит Припятть. Осмотрел враз все видимое. Рота Игната Пахомова уже в огородах окраинных усадеб, другая рота с минуты на минуту ворвется в те длинные кирпичные коровники. Батальон, где замом по строевой Заворотнев с золотым зубом, слева, как предусмотрено, огибает господский двор Вовремя, вовремя Рогозина туда перебросил. Сейчас другие две пушки надо.

Э-эх, «ильюшиных» бы сюда, чесануть по огневым немецкой артиллерии. Но давно Пятницкий не видел авиации. Говорят, вся на Земландский полуостров переброшена, там уже Кенигсберг обошли. Что ж, значит, на севере соколы нужнее Впрочем, и немецкие самолеты не появляются. Тоже у Кенигсберга понадобились.

Снова дакнул на клапан, чтобы дать команду на батарею.

— Припятть, отцепляюсь от нитки, ухожу к Рогозину У вас три минуты работы — и на колеса!

Но что это?

Пятницкий поупористее поставил локти на гряде с бураками, приник к биноклю.

Свертывающимися клубами, черно и густо дымили стога возле сараев и сами сараи, набитые сеном Эта удушливая завеса вытолкнула нескольких человек к облитому солнцем колку орешника. Затоптались, завертелись славяне на месте, хотели снова нырнуть в дымную непроглядь, но оттуда высыпало еще десятка три солдат Некоторые волочили на себе раненых. У Пятницкого больно и оглушающе застучало в висках. Отходят! Не смогла пехота зацепиться в Бомбене, даже на окраине не смогла. Теперь путь один — на голое поле. Тогда немцам добить оставшихся от роты Пахомова, от двух других рот мурашовского батальона не составит труда. Пока мешает дым.

Не только Пятницкий, но и Игнат, и Мурашов поначалу тоже думали — все потеряно. Но подумать одно, сделать — другое. Завернул Мурашов свои роты под прямым углом, направил вдоль орешника, стали прижиматься к овражкам. От них до Бомбена — один бросок. Откашляются, отплюются, набьют магазины патронами — и снова вперед.

Старший лейтенант со шпорами на брезентовых сапогах тоже разобрался в обстановке, сообразил повернуть своих першеронов к безлистому, но плотному островку кустарника — туда, где налаживался боевой порядок перепутавшихся, перемешавшихся остатков мурашовских подразделений. Рогозин с двумя орудиями, надо полагать, давно там, успел развернуться. У Мурашова две сорока-пятки... Дело за пушками, что с Коркиным на закрытой позиции остались. Теперь их срочно под стены Бомбена!

— Савушкин!

Женя мгновенно протянул трубку.

Плеснулась неожиданная мысль, и подготовленная Пятницким фраза для команды заклинилась. Только в начальном развитии эта мысль чуть не лишила Шимбуева разума. В разгар боя, в разгар такой заварухи комбат Пятн»цкий вдруг спросил его:

— Алеха, тебя за что из училища вышибли?

На досуге, за кружкой наркомовской, можно было бы поболтать, рассказать, как до офицера чуть не доучился, но сейчас! У лейтенанта часом не выпала клепка из головы?

Смотреть в раскрытый Алехин рот не было времени

— Чего онемел, пастух козий? — с напускной строгостью прикрикнул на Шимбуева.— Ладно, в другой раз расскажешь.

Мысль простая в сути своей, но очень и очень стоящая. Пехота не смогла войти в Бомбей, и снимать с позиции второй огневой взвод не имело смысла. Во всяком случае, в ближайшие двадцать — тридцать минут — до новой атаки немецких позиций в господском дворе. Надо бить и бить по Бомбену, содействовать этой атаке и развертыванию полковушек старшего лейтенанта. За это время и сам Пятницкий сумеет перебросить НП на окраину селенья.

Пятницкий выхватил из кармана блокнот, выдрал листок, спросил Шимбуева:

— Алеха, сможешь продолжить работу с закрытой?

— Проще пареной репы,— смело заверил разведчик.

Самоуверенность Алехи поколебала Пятницкого. Шимбуев заметил это колебание, поспешил:

— Да что вы, комбат! Помните занятия в Йодсунене?

Помнил Пятницкий. В обороне и на занятия время выкраивал. Тогда и узнал, что Алеха Шимбуев в артучилище — то ли в Томском, то ли в Тамбовском — учился. Еще дома, поступая на курсы комбайнеров, подделал справку, и свои четыре класса выправил на девять. С этим образовательным цензом и в армию ушел. Диктанты в училище не писали, задач о бассейнах не решали — и сходило Алехе. Но когда дошли до деривации, суммарных поправок, боковых слагающих и коэффициентов всяких, Алехин мозговой

аппарат не выдержал, отчислили. Все же много полезного и нужного осталось в неглупой голове Алехи Шимбуева, и сейчас он развеивал сомнения Пятницкого:

Сокращенную не смогу, забылась, запутаюсь с картой, а глазомерную запросто

— Не надо готовить данные, Алеха. Все пристреляно. Корректируй по обстановке. Вот,— подал листок,— тут все пристрелочные. Бей по Бомбену, а через тридцать минут дашь команду огневикам сниматься — и за нами Я буду во взводе Рогозина.

Вызвал Коркина к аппарату, приказал:

— Взвод, к орудиям!

Коркин, видимо начавший грузить снаряды на машины, готовить пушки к буксировке, заартачился было но Пятницкий прикрикнул:

— Коркин! К чертям дебаты, делай, что приказываю По данным первого рубежа.

Когда донесся залп, Пятницкий обернулся к Шимбуеву:

— Разрывы видишь, Алеха? Давай работай.

«Скрипачи», взявшие под контроль шоссе, несколько раз заставляли Пятницкого укладываться в придорожную канаву. Женя Савушкин примазывался рядом, прижимался к Пятницкому. Поначалу Роман не обратил на это внимания, но когда шестиствольный заныл в третий раз и Женя опять оказался под боком, Пятницкий беспокойно глянул в его лицо Боится? За него прячется? Или напротив — хочет комбата прикрыть, чертенок? Да нет, не то и не другое. Роман встретил такой радостный, озорной взгляд чистых голубых глаз, такой блеск молодых зубов, обкусывающих липовую веточку, что растерялся даже. Он играл, забавлялся, этот пацан! Женька не тянул сейчас проклятый кабель, не тащил на себе ломающую ребра тяжесть катушек, не обдира ладоней торчащими из паршивой изоляции стальными жилками, не вгонял их под ногти, не обмирал от страха за целостность аппарата... Карабин да плоский вещмешок за плечами — разве это тяжесть для Жени Савушкина! А тут весна, в жухлом войлоке травы раскручиваются шильца зелени, шныряют букашки.. А «скрипачи» — тьфу на них!

Женя тычет жучка липовым прутиком, жучок опрокидывается на спину, дергает ногами. Смеется Женя

Пятницкий приятно ожегся этой дурашливостью, прижал пальцем нос Жени Савушкина.

Женя попрядал розовыми, запыленными ноздрями и спросил:

— Товарищ лейтенант, чем они мины начиняют, «скрипачей» этих? Дымище — с души воротит

— Тебе надо, чтобы — одеколоном? — весело прищурился Пятницкий.

Женя заливисто засмеялся.

— В седьмом я первый раз под бокс подстригся Парикмахерша за пульверизатор: «Освежить, молодой человек?» Э-э, где наша... Катька — мы на одной парте сидели — весь урок краснующая сидела, думала, я для нее наодеколонился...

В этих словах — тоже весна.

Интересно, чем ее, весну, начиняют?

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

В течение дня пехота трижды врывается в Бомбей, в это барски ухоженное, подстриженное, вылизанное селеньице, и столько же раз поредевшая, измученная, выкатывалась гороховой раздробью.

Триста метров туда, триста обратно, а сил расходовалось — в другом месте на три атаки бы хватило.

Истомленные, нервные пехотинцы раздраженно ругались на во всем виноватых пушкарей, пушкари в свою очередь винили пехоту, которая довольно скоро оставляла Бомбей, и они не успевали даже выбить упоры из-под сошников.

Четвертой атакой сумели ворваться в центр селения и отбросить немцев до сараев, что с трех сторон охватывали господский двор. Немцы снова контратаковали, но что-то разладилось в их обычно согласованных и хорошо продуманных действиях. Так и остались у тех окраинных сараев. Зато под шум этой схватки нашим артиллеристам удалось закатить в Бомбей несколько орудий. Закатить, правда, — не то слово, хотя и верное в сути своей. Орудие сержанта Горькавенко, например, доставил туда Колька Коломиец. До бортов груженный снарядами «студер» (Горькавенко в кабине с Коломийцем, двое на ступеньках в дверцы вцепились) спрямил путь и, как танк, приминая ограды сквериков, с натужным ревом приткнулся к полуразрушенной стене только что отбитого у немцев строения. Пока Горькавенко с наводчиком и заряжающим скидывали орудие с буксирного крюка, подоспели остальные номера расчета

Выгрузить все ящики немец не дал. От нижних домов, где возобновились схватки, пулемет — есть у них такой МГ-34 — высмотрел возню у сарая, а может, не сейчас высмотрел, а раньше, когда «студебеккер», едва не обрывая мотающуюся в прицепе пушку, мчался в Бомбей, — высмотрел, проследил за ним и теперь короткими очередями, чтобы не перегреть ствол и не возиться с его заменой, пригвоздил людей к земле и стал крошить кирпичи, подбираясь фосфорическими стежками все ближе к машине.

Пулеметчику удалось угодить под брюхо «студера», где баки с горючим. Жидкостные струи пламени плеснулись на землю, освежились воздухом и вздыбились выше кузова — охватили борта, ящики с боеприпасами. Багровея в ярости, Горькавенко кинулся к орудью, чтобы подальше откатить от нависшей опасности. Огневики уперлись в щит, ухватились за правила станин, натужились. Но тонна двести, пусть и на двух колесах, — все та же тонна двести.

Коломиец, метнувшийся было помогать расчету, тут же понесся обратно к машине и запрыгнул в кабину «Студебеккер» взревел мотором, стронулся.

— Назад!!! — запоздало завопил Горькавенко.

Из кабины набиравшей скорость машины вылетели запасная камера, телогрейка, противогаз, вещмешок Черт конопатый, он еще о шмутках думает!

Раскрыляя незакрепленные дверцы, «студебеккер» вывернулся на побитую взрывами и заваленную трупами аллею и, пылая, подскакивая, помчался под уклон, навстречу пулеметным трассам. Пушкари в ошоломленной беспомощности смотрели вслед.

Но взрываться вместе с машиной Коломиец не собирался. Поравнявшись с залегшей пехотой, он, прихваченный огнем, вывалился на обочину. Потеряв управление, «студебеккер» завихлял на аллее, двинул плечом дерево, качнулся с боку на бок, перемещая по жестяному днищу снарядные ящики, сунулся в сточную канаву и неподалеку от кинувшихся врассыпную немецких автоматчиков застрял, бросив окрест ошметки пламени. Взорвались бензобаки, а мгновение спустя — с чудовищным грохотом и снаряды. Раздвинуло парк в этом месте, завалило несколько деревьев.

Все это произошло на глазах Романа Пятницкого, прибежавшего в Бомбей с разведчиками и связистами следом за вторым орудием. Страдая от потери машины и боеприпасов, он мысленно похвалил себя, что не поддался соблазну воспользоваться другими тягачами. Орудие, которым продолжал командовать артмастер младший сержант Васин, ввезли в Бомбей с помощью лошадки ездового Огненно на скорости, на какую она, исхлестанная, была способна.

Стали разгружать повозку

— Десять ящиков всего,— сокрушался Васин.— У тебя сколько, Горькавенко?

— Восемнадцать. Не успел больше. Колька союзного «студера» на таран пустил

— Нашел что таранить — сосну! — внутренне восхищенный Коломийцем, съязвил все же Васин.— Гнал бы до самих фрицев.

Липатов смазывал Коломийцу ожоги, и тот, морщась от болезненных прикосновений, лишь буркнул в ответ:

— Тебя бы в кабину, трепливого...

Пятницкий еще раз пересчитал ящики и успокоил командиров орудий:

— Сто сорок снарядов на два ствола. Ничего, разумные, жить можно

Да, на два ствола. На большее на пушки Витьки Коркина Пятницкий не мог рассчитывать. Сам он уже разобрался в сложившейся обстановке, а более четко оценить ее помог подошедший майор Мурашов. Насмешливо глядя на повозку, к задку которой веревками были прикручены сошники пушки, он спросил:

— Сам определишь место для «зисов» или подсказать? — Не дожидаясь ответа, посоветовал: — Ту, что у кормокухни, там и оставь., а с этой — к парку. Другие два направления сорокапятки прикроют

— Круговая?

— А ты не видишь разве?

Вот она какая — обстановка. Потому Пятницкий и рассчитывал на два ствола, которые при нем, а не на четыре. Рассчитывал на два, но все же сказал ездовому Опиенко:

— Дуйте, Иван Калистратович, за третьим «зисом» Тогда, на перекрестке пяти дорог, когда ждали танковый корпус противника, Огиенко, вопреки желанию Пятницкого, остался на огневой позиции, и Пятницкий ничего с этим те мог поделать — не нашел весомого повода отправить пожилого человека с передовой и хоть в какой-то степени отдалить его от опасности. Сейчас повод был — привезти орудие. Только повод, не больше, а привезти... Не успеет Огиенко привезти. Немцу надо быть законченным идиотом, чтобы

оставить в покое и не перерезать дорогу, по которой Пятницкий сумел перебросить в Бомбей пушки первого взвода. Пусть хоть успеет мужик вернуться в тылы батареи.

Но и этого не успел Иван Калистратович — дорога простреливалась с обеих сторон. Пытаясь все же прорваться, выполнить приказ о доставке третьей пушки, Огиенко пустил лошадку вскачь через кустарники, был замечен и обстрелян из минометов. Некоторое время спустя солдаты из роты Пахомова перехватили одичалого коня, волочившего повозку на одной передней оси. В повозке лежал труп изувеченного взрывом Ивана Калистратовича Огиенко.

Когда батальон майора Мурашова начал наступление от Розиттена на Бомбей, солнце светило в затылки, теперь оно светило кому в лоб, кому в щеку, кому, как и прежде, в затылок — в зависимости от того, где было указано место в обороне. Выбралось поутру из-за горизонта, полезло вверх, начало пригревать, но не сильно, вспомнило: рано еще, не сезон. Проторенно прошло по унылому, безрадостному небу, от неиссякаемых щедрот своих наделило всех одинаково — русских и немцев — и упряталось за другой предел земли, на покой, значит. А скорее всего по иной причине: глаза бы не видели, что творится на обжитой планете...

Что ж, не хочешь смотреть — не смотри, не надо, можешь зажмуриться, за тучи спрятаться, а то и совсем не всходить, лейтенанту же Пятницкому в оба смотреть надо и сразу во все стороны: порядок наводить на той малости войны, которая ему доверена, чтобы ни тебе, светилу, ни другому кому не было стыдно и горько смотреть потом на планету.

Да и не так уж темно становится в Прибалтике, когда солнце спать укладывается. А тут еще дом, что на склоне к пруду, хорошо разгорелся, не погасишь, хотя немцы вначале и пытались бороться с огнем, уж очень нужен был им этот невеликий дом из плотно спаянных кирпичей. Пригодился бы он и батальону Мурашова, да что теперь сделаешь, не сумели сразу взять его, не хватило силенок. А вот пригорок захватить, освещенный пожаром сбоку, очень кстати — батальону дышать намного бы легче стало.

Выдался момент, когда Мурашов, Пятницкий, Игнат Пахомов оказались вместе. Сгрудились в стойле, ближнем от входа в коровник — стойла были отделены друг от друга кирпичными перегородками, — запалили фонарь, накидали на металлическую поилку сена, покрыли плащ-палаткой Шимбуев с Клюкиным, вестовым Мурашова, устроили кое-что пожевать товарищам командирам. Мурашов вытянул из-за голенища карту, сложенную до размеров курительной книжечки, поднес ближе к свету. Черные прямоугольники домов и хозяйственных построек, кружочки и крапинки парка, изгибистая, в две линии, дорога, амебами — горизонтали рельефа. Отыскивали все уплотняющиеся паутинки горизонталей высотку, что в двухстах метрах от пылающего дома.

— Ну как? — спросил Мурашов.

Через головы, сдвигая Пахомову шапку на переносицу, протянулась рука Клюкина, поставила котелок с кусками мяса. Рядом Клюкин высыпал горсть соли, сказал извиняющимся голосом:

— Трофею забили, а не посолили. Мечтательный повар попался.

Шимбуев передал искромсанный буханку.

Пахомов, не притрагиваясь к хлебу, изжевал кусок мяса, сказал первым:

— У них оружие там и десятка два автоматчиков.

— Это я знаю,— недовольно отозвался Мурашов, ожидавший от Пахомова чего-то другого.

— Я не для сведения, соображаю, как лучше

— Сколько можешь?

— От силы пять-шесть человек.

Мурашов стряхнул прилипшие к руке кристаллики соли, поцывал зубом, сказал решительно:

— Мало.

Игнат Пахомов упрямо отозвался:

— В роте тридцать три гаврика, на кого я оставляю западную окраину?

Полчаса назад Рогозин доложил Пятницкому, что обзавелся несколькими ящиками фаустпатронов. Воспоминание об этом подбросило Пятницкому мыслишку. Притянул за полу Алеху Шимбуева, шепнул в ухо:

— За лейтенантом Рогозиным сбегай.

— Сколько у тебя людей, лейтенант? — спросил Мурашов у Пятницкого.

Тот прикинул в уме: в расчетах по шесть, управленцев восемь, значит — двадцать. Хотя нет, еще шофер сгоревшей машины и лекарь Липатов.

— Двадцать четыре с офицерами,— ответил Роман

— Д-да, сила,— иронично произнес Мурашов.— Но вот что...

Говоря о численности гарнизона в окруженном Бомбене, Мурашов совсем упустил из виду дивизионных разведчиков, незнамо как оказавшихся в расположении его батальона. Двадцать сорвиголов под командой старшины Соловьева кое-что значили.

— Вот что,— повторил Мурашов, обращаясь к вестовому.— Видел ровики у центральной аллеи? Отыщи старшину Соловьева и немедленно сюда.

Игнат Пахомов понял командира батальона и сказал

— Ну, к Соловьеву, по правде, на драной козе не подъедешь.

И без того увеличенные в полумраке зрачки Мурашова еще больше расширились, франтоватые усики дернулись.

— Соловьев не баба, что его умасливать! — Остальное, что не сказал, на лице было написано: пусть попробует хвост задрать — долго жалеть будет.

Пятницкий был наслышан о Соловьеве и теперь с любопытством ожидал его прихода. Широкая молва обостряет воображение, а воображение у каждого по-своему развито, у иного оно и нимб к голове пристроит У Соловьева нимба не было. На арбузной голове пышущего здоровьем двадцатипятилетнего парня лихо сидела кубанка, стеганный ватник туго перепоясан офицерским ремнем без портупей, к ремню, на немецкий лад — у левого паха, немецкий парабеллум в немецкой же кобуре, три гранаты с деревянными рукоятками, тоже немецкие, на ногах трофейные бурки. Только за спиной наш ППС с рожковым диском — автомат последней конструкции

Было бы к месту спросить, есть ли у Соловьева еще что русское, кроме автомата, но Мурашов вспомнил: старшина — башкир, вопрос прозвучал бы

нелепо. Сказать это же как-то иначе расхотелось. Опять-таки нечего начинать с укусов. Мурашов показал на место рядом с собой:

— Садись, Соловьев, потолковать надо Каким тебя ветром сюда?

— В поиск пошли, вчера еще, нигде не преткнулись, хотели на вашем участке, а тут петрушка такая.,

— Помощь твоя нужна, Соловьев. Сработаем — языки будут, можешь в кадушках солить про запас.

— Какое дело? — спросил Соловьев с затаенной настороженностью: не собирается ли майор покуситься на его самостоятельность, на его особое положение?

Подошел Rogozin. Соловьев покосился на его шрам, на трубку роскошную. Rogozin с подозрительной галантностью поклонился. Он был явно предубежденно настроен по отношению к Соловьеву.

Мурашов объяснил задачу: скрытно подобраться к высотке — а это лучше, чем орлы старшины Соловьева, никто не сделает — и неожиданным ударом захватить ее. В случае неуспеха отход прикроет оружие сержанта Горькавенко, в случае успеха это оружие перебрасывается на бугор, который надо удержать во что бы то ни стало.

Командир прославленных разведчиков несогласно покачал головой:

— Нет, товарищ майор, это в наши планы не входит.

— Зато в мои входит! — вспыхнул Мурашов.

— Входит, так делайте! — мгновенно пробудился характер Соловьева.—

При чем тут мои разведчики?

Лицо Мурашова пошло нездоровыми пятнами, над переносьем собрались тугие складки.

— При том, что здесь армия, а не шарашкина артель В данных обстоятельствах ты будешь выполнять, что я прикажу!

— Чего вы кипятитесь, майор, на хрена вам эта высотка. Мы с ребятами решили барский дом взять.

Офицеры ошеломленно переглянулись.

— Какой дом? — не веря услышанному, изумленно спросил Мурашов.— Особняк этот? Кто позволил? Только посмей! Все планы наши загремят. В доме больше взвода автоматчиков, несколько пулеметов, подходы прикрыты тем оружием на бугорке... Возьмем и его, но всему свое время. Вот тебе мой сказ: ни шагу без моего ведома, не посмотрю, что ты Соловьев.

Старшина ожег ухмылкой, враз поднялся.

— Вот это уж зря... Как бы перед Глебом Николаевичем отвечать не пришлось...

Rogozin повелительно положил руку на плечо Соловьева, хотел резко повернуть к себе, но плечо ловко выскользнуло, и Rogozin напоролся на острый, язвительный взгляд. Скулы у Андрея Rogozina выпятились, шевельнули багрово потемневший шрам.

— Степной орел, князь удельный... Ишь ты, о генерале, как о родном дядюшке... Кубанка, бурки, часы на каждую руку... Носятся с вами, как с писаной торбой..

— Лейтенант! — вздумал Мурашов остановить Rogozina, но тот не унимался.

— Насмотрелся, пока в медсанбате лежал! Сходят в поиск — и дрыхнут до одури, дурех с погонами обхаживают, банно-прачечный в бардак превратили... Вон те, в окопах, не от задания к заданию, каждый час под смертью, а все плебеи для таких сановных. Да я самого замуранного телефониста не променяю на тебя, героя в пимах фетровых...

— А-а, героя... Герой не... Да он мне кровью!

— Кровью? А это что? — посунулся Рогозин вплотную к лицу старшины, даже шелохнул его, неподвижного, налитого силой.— Это что? Кошка оцарапала или шлюха какая? Может, у тебя кровь особая?

— Прекратите! — вновь крикнул Мурашов и раздвинул готовых сцепиться.

Может, так, машинально сказалось насчет героя, может, слышал что Рогозин, но получилось не очень ладно. Сильно и уязвимо задело гордыню Соловьева. Представление о присвоении звания Героя Советского Союза ушло месяц назад, на кончике языка разнесли эту весть штабные сороки. Ждал парень, газету с Указом во сне видел...

— Остынь, Соловьев,— ровным упористым голосом проговорил Мурашов.— Знаем, что не за так, не за твои распрекрасные... Пьянеть от славы не надо. Помни — тут не пугачевский стан, а ты не Салават Юлаев. Отправляйся и скажи орлам лихим...

Старшина натренированно, с профессиональной лов-Костью юркнул из стойла, моментально перехватил автомат со спины, крепкой ладонью обвил рукоятку.

— Я знаю, что сказать,— надменно оскалил он редкие, синевой отдающие зубы и скрылся за дверью — будто и не было его.

— Час от часу не легче,— тяжело вздохнул Мурашов.— Черт бы его побрал, эту гордость дивизии. Свалился на мою голову. Ты еще, лейтенант, масла в огонь.

— Барский дом и трофеи в нем — выдавил Рогозин через подрагивающие губы.

Поразительно, но все происшедшее будто не тронуло Пятницкого, не задело ни за один чувствительный нерв, даже развеселило малость, думать заставило. К тому, что задумал, вспомнив о трофейных гранатометах, и для чего посылал Шимбуева за Рогозиным, в момент перепалки добавилось еще кое-что

— Товарищ майор,— решительно, словно иных мнений и быть не может, начал свое Роман,— извлечем из этого полезное. Пусть Пахомов поспешит к Соловьеву и успокоит его. Это он сможет. Если уж в атаку захотелось, нехай «атакуют», не вылезая из ровиков. Стрельба, несколько гранат под «ура» погромче... Под эту демонстрацию лейтенант Рогозин с моими управленцами... Своих мужичков отщипнете от батальона? Подберется и... Сколько у тебя, Рогозин, фаустпатронов?

— Восемь ящиков.

— Парами? Значит, шестнадцать. Как только накроют высотку фаустпатронами, Горькавенко передвигает туда пушку, закрепляется. Тогда уж Соловьев может поднимать своих и идти добывать особняк... с несметными трофеями.

Мурашов с некоторым промедлением посмотрел на Пятницкого, посоображал, пощипал усики, перевел взгляд на ротного.

— Как ты на это, Пахомов? — спросил его.

— Лучшего варианта не вижу, и время подпирает Соловьев этот, по правде, ишак, каких свет не видел. Надо быстрее к нему, — ответил Пахомов.

— На том и порешили! — утвердил Мурашов и добавил: — Гляди, Пахомов, чтобы спектакль, как в Большом московском.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Лежа грудью на краю мелкой воронки, Пятницкий смотрел вслед уползающей группе, которую вел Андрей Рогозин. Слева, справа и чуть позади группы двигался стрелковый взвод — человек двенадцать, не больше — под началом усатого сержанта, который пуржистым утром тринадцатого января в атаке под Альт-Грюнвальде грубо и справедливо умирал бестолковый пыл Романа Пятницкого.

Готовые к открытию огня и передвижению на высоту, стояли номера расчета сержанта Горькавенко. Тревожился Роман, давило его беспокойством: как-то справятся его управленцы с непривычным для них заданием?

Неподалеку от помпезного фасада особняка с двумя утолщенными по центру колоннами, где в рыхлой почве газонов были нарыты окопчики дивизионных разведчиков, выпирающе обозначилась густая автоматная стрельба, рванули гранаты и следом взревело устрашающе воинственное «ура!». Будто давно и настороженно ожидая этого, с бугра сразу бумкнуло немецкое орудие, усилился автоматный огонь из бойниц и сводчатых окон особняка. Пространство, где таились невидные отсюда, размытые тенью центральная аллея, цветник и бетонная чаша фонтана, заполнилось багрово-желтыми всплесками огня, грохотом разнотонно и неистово лопающегося металла.

Чуть погодя донеслись урывисто-резкие, как орудийные выстрелы, взрывы немецких кумулятивных гранат на высоте. Это Рогозин бил по высоте фаустпатронами.

— Может, поспешить? — спросил Горькавенко.

— Надо спешить, только разумно, — ответил Пятницкий, — обстановка еще далеко не ясна.

Роман посмотрел на часы. Немецкая пушка последний выстрел сделала четыре минуты назад и, похоже, совсем замолчала. Четыре минуты... А где сигнал от Рогозина?

Длинная, нежно светящаяся, как при салюте, взмыла в зенит тягучая автоматная очередь. Пятницкий жадно хватанул воздуха. Вот он, сигнал!

Жми, Горькавенко! Со связью не медли — нитку сразу давай!

Дом, что сбоку высоты, догорал, вспышки чего-то съедобного для огня увядали, растрачивали последние силы.

Пятницкий привстал в неглубокой, до колен, воронке, возможно, его же снаряда, когда вели огонь от Розиттена, передернулся от сырой прохлады, от непривычного одиночества, подошел к изрядно исколупанной стене кормокухни, прикинул, как быстрее проскочить к орудью Васина. Внезапно левее и ниже особняка, где находился небольшой прудок, вспыхнула, стала усиливаться стрельба.

Еще одна попытка вышибить батальон из Бомбена? Все может быть, не исключено и это.

Пригнувшись, Пятницкий метнулся к парку, достиг толстого дерева, прижался к нему на секунду. К только что вспыхнувшему бою в низинке подметался рев десятков глоток. В этом будоражащем, поднимающем реве нельзя было ошибиться — наши, пехота-матушка наша! Но откуда она там?

Хлестко пальнула сорокапятка, дульное пламя плеснулось левее окопчиков дивизионных разведчиков. Пока Роман добежал до полковушки, атакующие подошли вплотную к особняку. Возле орудия Пятницкий едва не столкнулся с теми, кого принял за номерных орудия. Да это же Горохов! Тимофей Григорьевич! Кто же второй? Надо же — Курлович!

— Вас что, на снаряде перекинули? — удивленно спросил Пятницкий. Но некогда объясняться, что да почему, сказал радостно: — За мной, разумные вы мои, потом поговорим!

Две вечны изрядно поизносили дядьку Тимофея, упыхался, но не отстаёт. Курлович — вот и возьми его! — выглядел бодрее. Но это только казалось — бодрее, как добежали до огневой позиции Васина, скинул с плеч термос и упал замертво, даже глаза закрыл. Коли его штыком — не встанет. Горохов, напротив, сразу начал, хотя и с одышкой, о деле — о новостях, скопившихся за вчерашний вечер и минувшую половину ночи, но Пятницкий остановил его, важнее было послушать младшего сержанта Васина. А новости Васина, как и всякие новости, — такие и этикие: дважды накрывало минометами, отбили контратаку, погиб заряжающий Тищенко, подносчик Мишин — ранен. Снарядов — кот наплакал.

Зато порадовала новость старшины Горохова: к рассвету «коробочки» будут, а пока, надеясь на танки, командир дивизии смело отдал для Бомбена последний резерв — роту третьего батальона. Вот, значит, кто атаковал от пруда!

Ко всем новостям — радующим и мрачным — еще одна добавилась, и опять мрачная. К сараю, где недавно совещались Мурашов, Пахомов и Пятницкий, где безуспешно возился с рацией командир отделения связи Липцев и где санинструктор Липатов устроил свой перевязочный, двое, спешно вышагивая, несли на плащ-палатке третьего.

Острые глаза Романа Пятницкого узнали Алеху Шимбуева и Женю Савушкина. Кому в компанию несут — к убитым или раненым? Спешат, едва не бегут Алеха с Женей, значит, еще живого несут. Кого? Пятницкий тоже заторопился.

— Я с вами, — метнулся за ним Горохов.

Возле Андрея Rogозина — это его принесли — уже хлопотал Семен Назарович Липатов. Андрей был без сознания. Женя Савушкин плакал и не таился этого, грязным кулаком размазывал слезы по щекам.

— Руку оторвало, — дергал носом Женя, — в спину угодило, в ногу...

— Есть еще кто? — холодея, спросил Пятницкий.

Устало опускаясь на корточки, Шимбуев ответил:

— Из пехоты троих и сержанта нашего. Горькавенко потом вынесем. Его сразу...

— Как орудие? — все больше тревожился Пятницкий.

— Живое. Товарищ сержант Кольцов командует,— Женя всхлипывал все реже и реже.— Хотели нас... Отбились... Не могли сразу-то товарища лейтенанта принести.

В коровник вбежал Бабьев — посланец от Васина. Правду говорят — беда в одиночку не ходит.

— На бугре у лейтенанта Рогозина свалка, Васин приказал сообщить! — выпалил это и столбнячно вытаращился на полураздетое тело Рогозина, про которого сказал как о здоровом.

Значит, не совсем отбились, значит, нечего стоять тут Пятницкому.

— Шимбуев! — выкрикнул Пятницкий.— Со мной!

— А я-то?! — с испугом и растерянностью ребенка, оставляемого бог весть на кого, закричал вслед ему Савушкин.

Пятницкий отозвался из дальней темноты, из-за порога:

— Женя, Семену Назаровичу помоги, потом со старшиной в расчет к Васину!

Пробегая мимо господского дома, Пятницкий понял — особняк взят: из узких сводчатых окон над капителью, вышибив рамы, выкидывали то ли живых, то ли мертвых. Не останавливаясь, послушал: все-таки мертвых — молча падали.

Контратаки немцев, вообще-то не склонных к ночным схваткам, в Бомбене вопреки всему повторялись одна за другой. Велись они яростно, люди, схлестнувшись в запекающейся злобе, гибли с той и другой стороны, но цели, ради которой они вскипали, немецкие контратаки не достигали. Организуй их противник одновременно с трех-четырех направлений — несдобровать бы батальону Мурашова, не помогла бы и артиллерия, своевременно втянутая на этот кусок земли, охваченный уплотнившимся кольцом вражеских подразделений. Тем более что боезапас артиллеристов был крайне убогим.

Что-то неясное, не разгаданное ни Мурашовым, ни Пятницким, сбивало немецкую организованность, понуждало к лихорадочным, разрозненным наскокам, и Мурашов успевал маневрировать своими небогатыми силами. Захват же высоты, а затем и пробившийся в Бомбей резерв во главе с золотозубым капитаном Заворотневым позволили Мурашову противопоставить суматошной тактике врага спокойную, продуманную оборону. Но спокойствие это было относительным. Нервировали задержка на этом пятачке и сознание, что задача, которую должен был решить батальон к исходу вчерашнего дня; не выполнена: автостраду Кенигсберг — Берлин так и не оседлали.

После очередной контратаки на позиции батальона обвалью рухнул шквал огня. Били минометы средних и тяжелых калибров, омерзительно ныли шестиствольные. Переждав этот судорожный обстрел, Пятницкий пошел к майору Мурашову. Миновав кормокухню, развороченную и пропахшую смрадом горелого силоса, он попытался хоть что-то увидеть там, далеко слева по ходу наступления, где не только не их дивизия, но и армия

другая. Мешали вековые деревья дорожной посадки и кладбищенская роща. Но по зарницам артиллерийского огня все же можно было судить, что левые соседи еще больше загнули фланг и двигались уже не на северо-запад, а строго на север. Пятницкий недоуменно подумал: «Какого же черта немцы вцепились в этот Бомбей? Самое время уносить ноги!»

Поделится мыслями с Мурашовым, а тот напомнил про автостраду Кенигсберг — Берлин.

— Действует автострада, лейтенант,— сказал Мурашов.— Сдается, все, что связано с ней, немцам дороже тех сотен солдат, которых мы положили и еще положим здесь.

Пятницкий отщелкнул кнопки планшета, вынул карту — не свою, рабочую, а выдранную из какого-то учебника еще в запасном полку. На ней он отмечал сообщения Совинформбюро. Мурашов усмехнулся:

— Хочешь увидеть, где мы застряли, с высоты Верховного?

— Черта лысого тут увидишь. Кенигсберг, Инстенбург... Пиллау еще... Всю Пруссию мизинцем закрыть можно.

— Под мизинцем этим не только мы — сотни тысяч воюют.— Мурашов подсунулся ближе к освещенному фонарем пятну.— Где тут Берлин?

— Вот,— ткнул пальцем Пятницкий.

Мурашов втянул верхнюю губу, покусал подзапущенные усики, сказал:

— Не думаешь, что немец не к Кенигсбергу по этой дороге подбрасывает, а наоборот — от Кенигсберга к Берлину? В Пруссии, чуёт, так и так крышка.

— Тогда нам головы поотрывать мало! — искренне взорвался Пятницкий.— Чешемся тут...

— Нам оторвать — немцам легче,— возразил Мурашов.— Немцам башки отрывать надо.

— Как бы они нам...— прислушиваясь, насторожился Пятницкий.— Кажись, опять на той высоте?..

Где-то далеко на востоке зрело, накалялось солнце, но сюда его беспредельное напряжение в этот час доходило ослабленно и было в силах обозначить рассвет лишь посеревшим небом. Четче обрисовались макушки деревьев, контурно выпятились развалины строений, в низинной теми, там, где пруд, неровно, едва приметно зашевелился отлипший от воды полог тумана, а со стороны кладбища потянуло погребной могильно-тревожной прохладой. Почему-то раздражающим в этой обстановке слышался гортанный лягушинный клетот. Для этих тварей и война нипочем. Вставая, Пятницкий передернулся.

— Пойду туда,— показал на бугор, где стояло орудие убитого Горькавенко и которым командовал теперь парторг Кольцов.

Пятницкий ушел, а чуть позже немцы начали наседавать и с той стороны, где держал оборону оружейный расчет Васина. На этот раз немецкую пехоту поддерживали два танка. А ведь даже признаков не было, что у немцев — танки. Не было танков, воровски подобрались откуда-то.

Первыми встретили их сорокапятки. Передний танк наскочил на бронебойные и остался без гусениц. Со вторым было сложнее. Он пробирался парком и вышел к позиции Васина. Пехоту мурашовские мужики отогнали пулеметным огнем, а танк на малом ходу с ревом продолжал лавировать

между деревьев и время от времени бил по особняку, где с полуночи хозяйничали разведчики старшины Соловьева и засела часть автоматчиков резервной роты. Толстенные липы, дубы, каштаны надежно прикрывали танк. Казалось, что оружие Васина бессильно что-либо сделать. Васин нервничал, поглядывал на нищенский боезапас и ждал, ждал...

Нервничала и пехота. Что там артиллерист копается? Вот шалава...

Похлеще нашлись бы у пехоты слова, узнай она, что на огневой Васина давно уже нет ни одной осколочно-фугасной гранаты, что те громы и молнии, которыми он подбадривал на рассвете продрогшую в окопчиках пехоту, всего лишь стрельба подкалиберными. Бахнет пушка, завоюет улетевший снаряд — и на душе уютнее: не в одиночестве пехота-матушка, бог войны рядом. А то, что снаряд послан черт знает куда, ударился черт знает обо что и, потеряв баллистический наконечник, стал похожим не на снаряд, а скорее всего, на катушку от ниток, закувыркался, зачуфыркал и упал нестрашным и неразорвавшимся, потому как взрываться нечему, одной порошинки в железе нет,— это уже другое дело, этого никто не видит.

Но и подкалиберными Васин редко услаждал слух пехоты. Берег и подкалиберные. Артиллерист, он не мог не думать о танках. Будут они или не будут — у немца не спросишь, а не знаешь — ко всему будь готов. Теперь не сильно, но радовался, что сохранил кое-что. А сохранилось и при той скопидомской стрельбе всего пять снарядов, всего один ящик. Потому и выжидал Васин.

Тем хорош подкалиберный, что вылетает из ствола с дьявольской скоростью, только вот от своего малого веса, от своей тюрячковой конфигурации выдыхается скоро. Потому самое милое дело — подпустить немца метров на сто, тогда и лобовая броня нипочем. Тысячная доля секунды понадобится такой катушке, чтобы влипнуть в броню, сотрясти ее кованую непробиваемость и проткнуть раскалившимся до девятисот градусов сердечником...

Взмок резиновый наглазник окулярной трубки, взмок и Васин — от шапки до портянок, подкручивает маховик туда-сюда, следит стволом за движением танка, сквернословием ближе подманивает.

Танк заскреб траками по корневищам, стал продвигаться в сторону орудия, чтобы получше высмотреть цель и врезать наверняка, а Васину впрямь кажется — подманил. Танк приблизился, ударил из пулемета. Пули обозленно щелкают в щит. Не убили бы, сволочи, раньше времени... Приблизился, похрустел останками горелого «студебеккера», пошевеливает дульным набалдашником, нащупывает, где тут младший сержант Васин. Васин оторвал руку от маховика, перенес назад, не глядя нащупал рычаг спуска. Опередил немца...

Орудие дернулось, прынул вниз клин затвора, со звяком выкинул прокопченную ожогом гильзу. Видимость впереди застлало дымом. Васин обернулся диким бескровным лицом, рот распылил крикнуть на заряжающего, но Женя Савушкин — заряжающий вместо убитого Тищенко — уже сует в патронник новый патрон. Сует неумело, чуть баллистический наконечник не скovyрнул. Все же приноровился парень, надал гильзу под зад, и она послушалась, защелкнула за собой клин затвора. Васин опять

ухватился за маховички, приник к наглазнику панорамы, стал выцеливать нужное.

Из танка низом струйками цедился жирный дым. Но танк живой, спячивается задом. Еще одним гвоздануть для верности?

Рявкнула пушка, добавилось звону в ушах. В проредях мазутной копоти пробилось пламя и скользнуло с моторной части на лобовую. Немного погодя внутри танка рвануло, чудовищным скоплением газов сняло башню и отшвырнуло ее в сторону.

Восторгаясь Васиным, из окопов загорланила пехота. Но не до восторгов Васину. Посмотрел на оставшиеся три патрона с подкалиберными — и под ложечкой заныло. Направился к снарядным ровикам, где хозяйничали старшина Горохов и командир отделения тяги Коломиец. До прихода Васина они успели со злобой расшвырять пустые ящики, искали — не завалился ли где ненароком осколочно-фугасный снаряд. Теперь они сидели перед ящиком, облепленным землей, и так радовались, словно не пять снарядов, а целый погреб боеприпасов нашли.

— Взрывом засыпало,— расплылся в улыбке конопатый Колька Коломиец.

Из железной коробки, что на щите для ветоши, Васин достал чистую тряпицу, вытер лицо, заморенно лег рядом с драгоценным боезапасом, облегчая душу, выматерился.

— Что, мало тебе? — обозлился Коломиец.— Скоро танки подойдут, тогда подвезем.

— Хорошо, если наши танки, а если...— Васин не завершил фразы, перевернулся, прижался щекой к траве.

С западной окраины, где стояло орудие сержанта Кольцова, вернулся Пятницкий с Шимбуевым. У Романа не хватило сил перешагнуть бруствер орудийного окопа, сел на него, оглаживая землю, съехал. Сказал Шимбуеву:

— Раздобудь воды, Алеха.

Женя Савушкин подал спрятанный в кустах котелок. Пятницкий подул, отогнал от края натрусившиеся хвоинки, поглотал вдоволь. Намочив платок, отдал котелок ординарцу и стал с брезгливой тщательностью удалять загустевшую меж пальцев кровяную клейковину. Сырой, испачканный чужой кровью платок отбросил подальше.

— Вон, на лбу еще,— подсказал Шимбуев.

Роман подставил ладони ковшиком, поплескал в лицо. Савушкин тихо спросил Шимбуева:

— Опять там?

— Опять. Схлестнулись.

Первыми танки увидели пехотинцы, крикнули на огневую. От Розиттена по полю, где прошлым годом росли бураки, наращивая гул, заполняя им пространство, торопились «коробочки» — наши «тридцатьчетверки». Немного их было, от силы — десяток, но что сокрушаться — немного, и за то низкий поклон!

Появление танков доконало немцев. Начали выскакивать из окопов, тыкаться туда-сюда и падать под огнем танковых пулеметов. Не вылазили из окопов те, у которых нервы покрепче. Побросали оружие и воздели руки до

предела. Когда танк приближался, они глубже втискивались в окоп, потом выныривали и снова показывали свое «сдаюсь». «Тридцатьчетверки» шли мимо, не трогали.

Роман устало поднялся, хмуро посмотрел на испятнанную шинель и направился к коровнику — где Липатов с ранеными, где умерший Рогозин, где другие убитые.

...Трудно умирал Андрей.

Слезы путались в отчетливо обозначившейся щетине одрябших щек, скапливались в неровностях шрама. Голова завалилась на сторону и осталась жалко-недвижной, с некрасивой гримасой страдания. Вот он, и — нет его. Не стало Андрея...

Пятницкий дошел до стриженного бобриком кустарника и только тогда опомнился, окликнул старшину Горохова и шофера Коломийца. Глядя в глаза Горохову и смущая этим, сказал:

— Тимофей Григорьевич, пойді к Липатову, побеспокойтесь, чтобы ребят побыстрее в санбат. Или в полковую санчасть, она, наверное, ближе. Рогозина и других — похоронить как положено... Зайду потом.— Повернулся к Коломийцу: — Ты, Николай, за машинами... Снаряды сюда побыстрее, с гильзами не возись, потом вывезем.

Подумал, что еще сказать. Сказать больше было нечего. Уткнул глаза в землю, пошел к пехоте. Надо было разыскать Мурашова.

И на этой окраине немцы сдавались. Затравленно суетились, словно боясь на что-то наткнуться, выставляли руки ладошками перед собой, бежали цепочкой от кладбища к пруду, сбивались в безоружные жалкие фаланги, шарахались от своих и русских трупов, непричастно отводили глаза. Отставшие одиночки с угодливыми физиономиями то и дело спрашивали: «Во плен?» За плечами, будто навечно прибитые к спине,— ранцы с покрышками из телячьей шкуры, к застежкам приторочены котелки, через руку запасная шинель или одеяло. Куда уж без них, в Сибирь-то!

Внезапный подход советских танков враз отодвинул этот участок фронта. Господский двор Бомбей, а с ним и вражеские подразделения оказались в тылу наших войск. Это был полнейший разгром еще недавно хорошо организованной, дисциплинированной силы, теперь потрепанной, панически отказавшейся от дальнейшей борьбы.

Сломленное сопротивление противника, незнание, чем заняться в эти минуты, на первых порах внесли сумятицу в ряды бойцов. Они оказались вроде бы не у дел. Ошалелые от миновавшей опасности, от первой зыбкой радости, они бродили по селенью без особой надобности, презрительно и зло разглядывали сдавшихся на милость победителя. Свирепого вида солдат в разбитых ботинках с обмотками облюбовал немецкого парня в добротных сапогах, сграбастал его и молчком запихнул в снарядный пролом в стене сарая. Пленный солдат выкарабкался оттуда — в чем только душа держится, видно, не чаял живым остаться. Жадно хлебнул воздуха — живой! Без обуви только. В дикарском танце, вскидывая босые ноги на кирпичных обломках, выскочил на дорогу, прижимая к груди драные красноармейские ботинки, помчался догонять бесконвойное человеческое стадо.

Бродят славяне, в подполье барского дома заглядывают, шарят — нет ли чего пригодного для брюха. Два взвинченных пожилых сержанта, не скупясь на зуботычины, наводят порядок. Солдат с обгоревшей полкой шинели, придерживая занывшую от тычка скулу, поднимает с земли оброненную шапку, несмело бубнит что-то в адрес сердитых сержантов. Тут же, на мелкой брусчатке аллеи, возле шапки, расколотая склянка с вареньем.

Ни у кого не повернется язык осудить сержантов за их излишнюю строгость. Лучше вот так, чем потом хоронить сладкоежку — когда немец тяжелыми обрушится. Дальнобойная немецкая медлит пока, еще не разобралась, что творится в Бомбене, а разберется, тогда... Что из того, что в поселке густо своих, угодивших в плен. Не пощадают: лучше мертвые, чем живые в русском плену.

Фасад особняка основательно разворочен, угол — от проема окна до фундамента — обвалился, через дыру виден кухонный интерьер, он режет глаза белым кафелем. Возле пролома — «тридцатьчетверка», ее башенный люк открыт. Высунувшись по пояс, в люке стоит подполковник в танкистском шлеме и кожаной куртке, смотрит вслед удаляющемуся строю машин, подает команды в микрофон. Подал последнюю, выпростался из тесноты, спрыгнул к майору Мурашову. Расправили карту на танковой броне, стали разглядывать.

Пятницкий ошеломленно уставился на подполковника и услышал теплые, ликующие толчки сердца. Растерянная и счастливая улыбка высветила его поблекшее от измотанности лицо. Может, обернется танкист? Ждал. Нет, не обернулся.

Пятницкий подошел ближе. Хотел подделать чей-то голос, но подражание не получилось, сипло выдавилось:

— Рядовой Захаров!

Подполковник обернулся, от удивления и радости откинулся всем корпусом назад, раскинул руки, воскликнул:

— Рядовой Пятницкий! Роман!

Несуразность восклицаний поразила Пахомова, заставила прислушаться.

Занят подполковник, дела торопят, да ладно, за полминуты ничего с войной не случится, не прокиснет война — надо же обнять товарища! Кинулись друг к другу, переплели спины руками — рослые, ладные, взволнованные до комка в горле. Один — седина даже в бровях, другой — в сыны ему в самый раз.

— Роман!

— Виктор Викторович!

— Командуешь?

— Батарея вот... С рукой как?

— Засохла, Роман. У тебя как — с комсомолом?

— Недавно на парткомиссии в кандидаты...

— Дай-ка я еще тебя помну...

Скрипит кожанка о портупею Романа, обнимаются мужики.

— У вас как, Виктор Викторович?

— — Нормально, воюю... Ну, до встречи, командир Красной Армии, дружище ты мой...

И все. Мужские сердечные дела еще и еще потерпят.

— ...Адрес не потерял?

— Что вы!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Подполковника Виктора Викторовича Захарова и Романа Пятницкого судьба свела в Каунасе. Прибыли они сюда разными путями и в разных качествах: несколько раньше Виктор Викторович с группой офицеров, вернее, бывших офицеров, из Вильно, где военным трибуналом рассматривалось его дело, Роман Пятницкий из учебного запасного полка в Горьковской области. Первый в звании рядового под конвоем, второй в звании лейтенанта и без конвоя.

Пожилой капитан Каунасской комендатуры выслушал доклад Пятницкого и, не заглядывая в предписание, долго и странно рассматривал его. Так обычно нескорые на ум готовятся сказать что-то, оттеняющее положение той и другой стороны, хотя и без того ясно, кто и что в этот момент значит. Роман ждал услышать вроде «достукался» или похожее на это и чувствовал себя совсем поганом. Но услышал неожиданное:

— Ты бы, лейтенант, хоть умылся.

Показал добродушную улыбку, слазил в карман гимнастерки и вынул оттуда вклеенное в картон прямоугольное военторговское зеркальце. Пятницкий с отлеглим сердцем принял этот предмет, с усталым любопытством (что он узрел на моей морденции?) заглянул в него, пояснил:

— Остаток пути на тендере добирался.

— Личное дело с собой?

Даже этим Пятницкий отличался от своего будущего товарища Виктора Викторовича Захарова — личное дело было доверено везти самому, правда, за сургучными печатями.

Воинская часть, обозначенная в предписании номером полевой почты, оказалась по соседству.

Через несколько минут после того, как за Пятницким захлопнулась дверь проходной, он получил вполне приличные погоны рядового, брезентовый ремень в обмен на комсоставский, был накормлен и пожалован местом для сна на втором ярусе дощатых нар с тюфяком из перетертой соломы. Чтобы жесткая постель не очень огорчала Пятницкого, младший лейтенант, под начало которого был назначен, с предельной краткостью объяснил:

— Это ненадолго.

Затем безотносительно к сказанному, а может, как раз поэтому, спросил:

— Почему тебе статью-то по Кодексу Украины определили?

Любопытный парень, успел бумажки полистать. По службе, что ли, положено? Только толку-то. Откуда Роману знать, почему по УК УССР! Вероятно, потому, что те семеро — с Украины. Листал бы внимательно, может,

что и написано. Пятницкий пожал плечами, младший лейтенант удовлетворился этим.

Одеяло, подушка и всякие там простыни для опального — аристократизм, разумеется, и посему их не было. Все же сапоги, взбираясь на верхотуру, Пятницкий снял, тюфяк застелил портянками, чтобы за ночь просохли под телом, и пролежал без сна незнамо сколько. Глядел в высокий-высокий потолок с ажурным переплетением балок, до которого, если потребуется, можно воздвигнуть нары и в шесть ярусов, и размышлял о всем происшедшем до тех пор, пока, истомленный, не провалился в глубокий сон.

Утром отправили на работу в пакгауз — то ли к начальнику клуба, то ли к художнику. Варил там клей, размешивал краски, грунтовал фанерные щиты.

За стенами пакгауза и дальше за забором (с колючей проволокой поверху) шумел осенний ветер, вскрикивали паровозы, стучали вагонные сцепления; совсем рядом слышались голоса людей, занятых передвижкой чего-то тяжелого. Роману надо было сходить в одно популярное дощатое сооружение. За углом наткнулся на бойцов, подваживающих громоздкий котел с отшибленными вентилями и скособоченными фланцами. Они перемещали его в дальнюю часть двора, наполовину освобожденного от хлама, что остается после врага во вновь занятых городах.

Судя по лицам и разговорам, солдаты были не совсем солдаты. Одного узнал — на утренней поверке стояли рядом. Высок, спортивен, виски седые, гимнастерка и бриджи — комсоставские. Он завязил свою лесину под котлом и пытался подопнуть ногой деревянную чушку ближе к ущемленному концу — сделать рычаг подлиннее. Роман сообразил, что требуется, просунул чурбан до упора, налег на шест. Котел шевельнулся, ослабил нажим на другие ваги, солдаты поспешно продвинули их дальше под днище и, руководимые чьим-то тренированным командирским баритоном, дружно и рассерженно-бодро взгаркнули: «И-ищо-о... взяли!» Котел гуднул нутром и встал, куда велено.

Человек, с которым Роман на утренней поверке стоял рядом, бросил вагу на землю, сказал Пятницкому:

— Перекурим, что ли? Ты это куда с утра затерялся?

— Туда вон... послали,— махнул Роман рукой в сторону пакгауза.

— Пятницкий, кажется?

Гляди ты, запомнил, подумал Роман. Новый знакомец будто услышал это.

— Запоминающаяся фамилия. А моя — Захаров, Виктор Викторович. Где бы нам за ветерком укрыться? Тучи такие паршивые, снегом пахнут. Рановато бы снегу... Насыпят. Не снегу, так мокрее чего, а то враз то и другое.

Потом они сидели на мешках с торфяными брикетами. Виктор Викторович дымил едкой самокруткой, в которой потрескивали корешки печально прославившегося филичевого табака. На левом берегу Немана, у разрушенного моста, который недавно начали восстанавливать, шарили лучи прожекторов, выхватывая в рано потемневшем небе медленно и тоскливо плывущие облака. Виктор Викторович рассказывал Пятницкому о себе.

В том, что оказался в штрафном батальоне, он, командир танковой бригады, не винил ни болото, где сели танки, ни карту, на которой это проклятое болото не было обозначено, ни дождь проливной, ни черта, ни дьявола,— винил только себя. Не психовал, не проклинал немцев, что не сожгли в танке, как других, не пытался в отчаянии пустить пулю в лоб — надеялся еще повоевать. Хотя рядовым. И повоюет. В этом никто не откажет.

Зло подергивая губой, сдерживая себя от резких замечаний, Виктор Викторович напряженно выслушал и печальную историю Пятницкого.

— На весь белый свет обиделся,— говорил о себе Роман,— день тот проклял, когда родился... Сейчас вот думаю: напрасно я так. Матка бозка, пан Езус! Шестьдесят богомольных мужиков под началом. Советской власти не видели, националисты, бандеровцы... Отломили за лопухость — и будь здоров, не кашляй. Радуйся, что на фронт попал, смывай кровью.

Захаров затоптал окурок, обнял Романа за плечи и убежденно подвел под его самоистязанием краткую и злую черту:

— Богатырева твоего смывать. Поганку бледную...

Пятницкий подумал: «Может, и поганка, только не бледная, если та девчушка из офицерской столовой и правда от аборта скончалась...»

Разведывательный отряд был сформирован в ночь на двадцатое сентября. На машинах перебросили в район Вилкавишкиса. Вначале по шоссе на юго-запад, потом проселками через исковерканные, тронутые пожарами островки сосняка. В разбитой литовской деревеньке получили оружие и через два часа сидели в окопах первой линии.

Роман Пятницкий ни на шаг не отставал от Захарова. Когда офицеры местного разведотдела стали делить отряд на три группы, хоть в малой степени учитывая, кто и в чем силен из этих рядовых, Роман и тут сумел примкнуть к Виктору Викторовичу. Перед тем с Захаровым толковал майор с измученным лицом и кровавыми от недосыпу глазами. Приказано было отобрать десять человек для выполнения, по выражению майора, особо важного задания. Так что Пятницкий, пожалуй, не примкнул к Захарову, а был примкнут им, как штык к винтовке, с учетом уже кое-каких испытаний на крепость.

По характеру задачи отряд штрафников вопреки всему, что приходилось слышать Роману от много и все знающих, мало отличался от

разведывательных отрядов, которые выделяются от дивизий первого эшелона в начальной стадии прорыва обороны противника. Цель та же: скрытно преодолеть минные полосы, проволочные заграждения, внезапно войти в соприкосновение с противником, ворваться в его траншеи и попытаться закрепиться в них. Одновременно ставилась и, по сути, сама собой решалась главная разведывательная задача — выявление огневых средств обороняющихся. Тут уж хочет или не хочет неприятель, а проявит себя. Не будет же сидеть сложа руки и ждать, когда, пройдя через ад заграждений нейтрального всполья, на него обрушатся изорванные до костей, окровавленные и беспощадные русские иваны. Ну и немалое место в этой задаче — контрольные пленные, на что особо указывалось группе Захарова.

Отряд вывели в траншеи до рассвета. Захаров надеялся в течение дня приглядеться к местности, по которой придется ползти ночью, рассмотреть заградительные сооружения, посоображать, как одолеть их при сильнейшем огневом воздействии врага. Вчистую рассеялась надежда, потому что не рассеялся низко легший утром туман.

Первая волна отряда поспешно поднялась, взревела «ура!» и стремительно пошла на вражеские траншеи. Проволочного забора не было, но возле окопов наткнулись на спираль Бруно. Движение замешкалось, ноги цеплялись за нити мин натяжного действия. Взрывы «шпрингенов», автоматная трескотня взбулгачили весь передний край немцев. Кинжальный огонь пулеметов, грохот потревоженных минных ловушек увалили атакующих, прижали к земле. В это землетрясное громохание взрывчатки, буйно наращивая атакующую силу, с неистовым ревом сыпанула вторая атакующая волна.

Преодолевая заваленные телами спирали колючей проволоки, штрафники в трех местах сумели достичь немецких траншей и схватились там врукопашную.

Произошло то, что и требовалось: ожила почти вся огневая система не только передней линии с ее пулеметными гнездами и позициями орудий прямой наводки, но и артиллерийских и минометных батарей в глубине обороны. Врожденный рефлекс самозащиты сломил вышколенную воинскую дисциплину врага, принудил приоткрыть свои карты.

Захаров стоял рядом с майором из разведотдела в неглубоком, по пояс, окопе. Майор смотрел на часы. Захаров притронулся к его руке, сказал:

— И без часов ясно — слабеют.

— Да, пора,— отозвался майор и расстегнул кобуру.

Роман видел это и поразился. Тоже пойдет? Вот этого он никак не ожидал!

Майор, загоняя патрон в патронник, передвинул затвор ТТ и поднес ко рту свисток, зажатый в левой руке. Свистеть помедлил, снова повернулся к Захарову, сказал строгим, непреклонным голосом:

— Со своей группой пойдешь следом за нами. Людей побереги, оттуда хоть одного живьем надо.

Захаров кивнул, и майор длинно засвистел, и свист этот до странности был пронзительно высоким, далеко слышным в грохоте боя.

С мрачным, жутким молчанием перевалил через бруствер третий человеческий вал — вал разжалованных офицеров и, не давая истаять силам, ушедшим перед этим вперед, ринулся в непосредственную близость вражеских, бушующих боем окопов.

Пятницкий в оцепенелой скованности смотрел на майора, легко перешагнувшего через пологий навал земли перед окопом, на его вскинутую с пистолетом руку. Майор крутнул головой влево-вправо и побежал, потерялся во взбулгаченной ночи вместе со всеми. Минуту спустя, следуя движению Захарова, поднялись и десять человек группы захвата.

Роман перескакивал через проволоку, запинался о трупы, падал, взбодряя себя, выкрикивал что-то, поднимался и снова бежал, стиснув зубы до судорог. Только бы не отстать, не отбиться от Захарова, от его десятки, добраться до немцев, а там уже сделать то, что приказано сделать.

Слева, скрытые до сих пор на прямой наводке, бездействовавшие в обороне, били в упор сразу четыре немецких орудия.

Снаряд разорвался совсем рядом. Падая, Пятницкий слышал, как осколки, выщипывая клочья ваты, пробороздили стеганку. Вторым разрывом из-под ног Романа выхватило землю, кинуло его в клубок обвитых проволокой человеческих тел, нестерпимой болью ударило в левое ухо. Роман не стал терпеть эту боль, этот вонзенный беспощадной силой большой и раскаленный гвоздь,— не стал терпеть, добавил в сумасшедший гвалт пронзительный, неудержимый из-за этой боли вой. Кровь текла из уха, из обеих ноздрей, скопляясь под скулами, мочила ставший тесным воротник гимнастерки. Сплевывая горячие, солоновато-приторные сгустки, Роман оперся о что-то податливое, скользкое, недавно живое и рванул дальше.

Первобытный рев людей, автоматные выхлесты в упор, хрястанье прикладов, сатанинский грохот уничтожающе дробящегося металла улавливались теперь не контуженым, знойно забитым слухом, а всем телом, каждой нервной клеткой. Влекомое вперед лютым азартом боя, опьяненное близостью смерти, тело Романа слышало вибрирующую дрожь земли, ее глухой, незатухающий, захлебывающийся стон. В неровном, меняющемся свете — то ярко вспыхивающем, то матово оплескивающим округу,— в освещении всего, что может гореть, вспыхивать, пламенно взрываться,

обливно виделись растерзанные, исшматованные, расчлененные человеческие тела, адовы корчи живой плоти. Чернеющая в жилах кровь и боль, проникающая в самый мозг, мутили рассудок, наливали одичалой яростью.

В отрепьях тумана, лимонно-багровых от выстрелов, взрывов и непрерывно взрывающихся ракет, Роман увидел аспидно-черную могильную щель окопа. В этой щели, наружно подсвеченная, колыхалась, плыла гладко обтянутая спина. Роман вкопанно встал и повел стволом автомата вдоль окопа. ППШ послушно отозвался на усилие пальца, прижавшего спусковой крючок. Многоточие рвущегося сукна стежкой прошлось наискось спины, остановило живое движение, заставило посунуться бегущего и обрушенно исчезнуть на дне траншеи.

Пещерный восторг ополоснул Романа. Но вид следующего немца напомнил о главном, утраченном помраченным сознанием. Пятницкий запоздало выругался и обеими ногами враз прыгнул на живое, бегущее по окопной прямизне. Падая, обдирая лицо о дощатую обшивку окопа, умножая и без того невыносимую боль, Роман перехватил изгибом руки горло оседланного немца, оперся коленом в позвоночник и, резко подавшись назад, переломил костлявое тело в обратную сторону.

Не подоспей Захаров, контуженый, изнемогающий Пятницкий не смог бы вытащить из траншеи измятого, изломанного в сплошную боль человека. Захаров кричал что-то, по его дико искаженному лицу Роман понимал, что кричит он что-то важное и нужное, но не слышал: гул в голове, разбитой спрессованным воздухом, возвысился до воя сирены,— не слышал, но по тому, что начал делать Захаров, сообразил, что надо делать ему самому.

Изловчившись, подняли пленного на бруствер. Только теперь Пятницкий заметил, что правая рука Захарова согнута в локте и беспомощно прижата к груди, где болтается автомат с опустошенным диском. Помог Захарову лечь на край окопа, подтолкнул. Выбрались, поволокли добычу, не думая и не имея сил думать о всем, что творится вокруг.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Васин окликнул двух пехотинцев, которые были поближе, чтобы шли с котелками пообедать вместе с его расчетом. Рядом дрались, обмолвиться и словом не пришлось. Теперь не грех и потрепаться немного, поуспокоить издерганные нервы. И повод подходящий — термос с хлёбовом все еще не опорожнен, не до того было. Пожилой солдат с грязной повязкой на голове и давним шрамом над бровью — Боровков по фамилии — оказался земляком Васина, тоже из города Серова, работал на промкомбинате.

Остывшую полусуп-полукашу (термос расчета пробитый достался) черпали молчком — тяжело было на душе, давила, не отпускала война. Потом,

насытившись, слегка оживели. Боровков взглядывал на Васина отцовским глазом, лестно было, что его земляк такой молодой, а командир над пушкой, танк подбил, и это все видели. Обращаясь к нему, Боровков побалагурил:

— Ложка-то узка, таскат по три куска, надо б развести, станет цапать по шести.

Васин несогласно уточнил:

— Было бы что таскать, можно и щепкой.

— Вон тот поваренок вашу еду кондером назвал,— продолжал свое Боровков.— Подставляй, говорит, папаша, котелок, кондеру наложу. А у меня война в голове, шум всякий — не расслышал. Показалось — колеру наложу. Думаю: спятил, какого колеру? Я ведь маляр. Школы, больницы... Много до войны строили. Дворец тоже. Земляк, Дворец помнишь? И ему красоту наводил. Ем, а сам думаю: работы скоро будет — успевай поворачиваться. Когда про кисти вспомнил, аж под сердцем что-то ворохнулось, запах краски услышал...

Вот и отмякли, разговорились немного, а то сидели молчком, перемучивали не потухшее жжение боя, сердца свои изводили о тех, кто убит.

— Д-да,— продолжал разохотившийся на разговор Боровков,— если бы не танкисты... Положение наше, скажу я вам, хуже губернаторского получалось.

В плутовских глазах Васина уже давно горели огоньки нетерпения: так и подмывало загнуть что-нибудь к слову, а к слову не приходилось. Теперь пришлось, поддержал разговор земляка:

— Ну вот, губернатора приплел. Ты знаешь, почему так говорят?

— Пословица, товарищ сержант, землячок мой хороший. Пословица она и есть — пословица.

— По-сло-овица,— махнул рукой Васин.— Молчал бы, если не знаешь.

— Ты много знаешь,— нахмурился Боровков,— ты, поди, при губернаторах жил.— Он облизал ложку, завернул в тряпицу, сунул в затасканный сидор и заметил Васину: — Ты вот почему, сержант, свою едалку за голенищем держишь? Все на машинах, артиллерия... Походил бы с наше, она бы тебя, ложка эта, обезножила, показала кузькину мать. Потом же портянка там, микробы заразные.

Васин покорно поблагодарил за науку, перепрятал ложку в карман и опять — про губернатора. Боровков снисходительно поощрил:

— Давай, давай, растолкуй. Ишь какой знающий выискался.

— Тут и растолковывать нечего, в Серове каждый пацан знает,— нос Васина смешливо наморщился.— В каком-то году, до революции, конечно, губернатор проводил в волостях ревизию и замешкался в одной деревне до самой ночи. Отвели ему избу для ночевки, хозяева горницу уступили, кровать

свою... Под утро губернатору до ветру приперло, а как выйти? На полу возле порога хозяева спят. Тогда он, значит, вынул ребенка из люльки, переложил на кровать. Пока он в люльку-то мочился, ребенок ему в постель по-большому сходил. Вот с тех пор и говорят: «Положение хуже губернаторского».

Орудийный расчет хохотал в полное удовольствие. Боровков начал было обиженно подниматься, но вообразил нарисованную Васиным картину и тоже захохотал. Только не пришлось ему посмеяться вволю, тут же за повязку схватился.

— В-во, бельма бесстыжие, не язык — помело, чирей бы тебе на него. Рану, кажись, разбередил.

Хотел было Пятницкий подстегнуть батарейцев строгой командой, приказать свертывать огневую, но язык не повернулся.

Васин заметил подошедших офицеров — Романа с Пахомовым,— сделал радушный жест:

— Прошу к нашему шалашу, только со своим...

Боровков не дал Васину договорить, тревожно толкнул его в бок.

— Гля, земляк, немцы!

Нашел чем удивить! Вон их сколько мимо прошло — несколько табунов. Сгрудили всех за Бомбеном, турнули в Розиттен. Но в голосе Боровкова слышалась тревога. Пятницкий встал на станину орудия, пригляделся. Что-то неладное виделось в этой немецкой группе: с автоматами, один на плече фаустпатрон прет. Похоже, организованная группа. Обрывистый, по-грачиному резкий доносится начальственный голос. Немцы один за другим поспрыгивали в траншею. Траншея невелика протяжением — всего в четыре загиба, но полного профиля: у солдат одни каски торчат.

На бруствер своего окопчика выскочил веселый боец, стал махать шапкой, показывать в сторону Розиттена:

— Э-эй, фрицы, туда плен, туда!

По нему враз — автоматная очередь. Солдат не сразу понял, что произошло. Спрыгнул в окоп, стал теревить товарища:

— Чего это они, чего?

Пятницкий не успел и рта раскрыть, как Васин подскочил к пушке, кинул в казенник патрон, приладился к панораме. Как всегда после затишья, гремуче шибануло в уши. Болванка подкалиберного пробороздила пласты дернины на бруствере, взвыла от рикошета, заколбасила по воздуху.

Из окопов, где прятались немцы, поднялся автоматный ствол с белой тряпицей. Пятницкий облегченно провел рукавом по вспотевшему лбу. Васин самодовольно хмыкнул, дескать, давно бы так, сто вам редек... У остальных тоже от души отлегло: ишь чего удумали, все, кто сдались, обулки в Сибирь навестили, а эти...

Игнат Пахомов окликнул Боровкова, который оказался под рукой, распорядился:

— Возьми еще кого в помощь, сопроводи до тылов эту сволочь.

Солдат, который в Розиттене упрекал Боровкова, что тот нацелился в госпиталь улизнуть, искательно посмотрел на товарища, всем видом показывая, что ему очень хочется конвоировать пленных, побыть немного от войны подальше. Мудрый Боровков угадал его желание, сказал важно и покровительственно:

— Пойдем.

Обрадованный солдат заторопился, поправил подпояску, подкинул автомат за плечом. Боровков осмотрел его, мотнул головой в сторону окопа, где немцы, положив автоматы на бруствер, размахивали ветошью, скомандовал:

— Шагом марш!

Боровков и его товарищ до белого флага не дошли шагов десять. Лавина свинца ударила в них, опрокинула. Над головами пушкарей засвистело, в бруствер зацокало, звонко стало попадать в щит орудия, в люльку. Возле орудийного окопа, глуша автоматную трескотню, разорвалась фаустграната. Бабьева осколками — насмерть, только и успел распахнуть глаза в удивлении.

Пятницкий не пригнулся, не присел в окопе. Сжал губы в комок, окостенел, душой помутился. Но сработал командирский инстинкт. Закричал надсадно:

— К ор-руд-дию!!

Женя Савушкин сделался белым-белым. Трясло его. Женя сжал кулаки перед собой, застучал сапогами о землю, закричал непривычное для себя: «Бл...ди, бл...ди!» Васин удивленно зыркнул на него, потрянул криком:

— Женька! Снаряд! Снаряд давай!

Савушкин сгреб снаряд, держит, как ребенка, пялит глаза на товарища лейтенанта: как быть, ведь подкалиберный это!

Вся взбаламученная кровь ударила Пятницкому в голову.

— Ящик!!!

Ящик с осколочно-фугасными мгновенно растеребили.

Первая же граната врезалась в зев траншеи и глухо сработала в его глубинах. Вылетели обломки искалеченного оружия, щепы обшивочных досок, рванина одежды и человеческих тел. Пополз, закачался в потревоженном воздухе тротильный дым. Второй снаряд раскидал волнисто стелющийся полог, распорол бруствер, занизил его, завалил глыбы на дно. Васин бульдожно спаял зубы, подправляет ствол для верного, выстрела. И снова утробный, как при камуфлете, взрыв в чреве окопа вскинул зловещный куст из

шматков слежалого суглинка, из всего, что было в окопе, что можно вскинуть силой взрыва.

В дыму дальнего необрушенного, неосыпавшегося, целого еще участка окопа снова на чем-то длинном стал мотаться влево-вправо тряпичный лоскут, будто ополоумел кто-то, вздумал гонять голубей в эту смертную минуту. Васин скосил на Пятницкого взгляд. Пятницкий прочитал в этом взгляде гаснущую решительность, закричал иступленно:

— Огонь, Васин!!! Огонь!!! В прах, в прах извести!!!

Жгло под черепом, в висках одичало билась кровь. Перед глазами плыли круги, и в кругах этих медленно вращалось тело одиннадцать раз раненного солдата Боровкова, теперь добитого из-под белого флага. Слабея, не находя сил побороть слабость, Пятницкий ухватился за щит орудия, ища воздуха, запрокинул голову к небу, но и там плыли разводы удушливо-мутных кругов, втягивали в черный, бездонный омут похожие на людей облака.

Пушка молчала. Не было больше осколочно-фугасных, не было подкалиберных. Да и стрелять не было надобности.

Игнат Пахомов положил руку на плечо Пятницкого. Роман ворохнул губы в улыбку, проговорил с трудом:

— Перед тобой, Игнат, международный злодей, поправший обычаи и законы войны, установленные конвенцией в одна тысяча... хрен знает в каком году...

Игнат сказал со вздохом:

— Война проклятая, поговорить с человеком не даст...

Это он о подполковнике-танкисте вспомнил, которого встретил Роман Пятницкий возле господской виллы с обвалившейся колонной, провисшей капителью, с ободранными со стен лианами плюща. О проклятой войне, которая не дает поговорить с человеком, Игнату хотелось сказать еще тогда.

Тогда не удалось сказать. Теперь сказал.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Офицерское совещание закончилось за полночь. Густая темнота плотно спеленала немецкий поселок Цифлюс, куда позавчера вступил снятый с позиций крепко обескровленный артиллерийский полк подполковника Варламова.

Командир восьмой батареи старший лейтенант Еловских, потягиваясь, прошелся на распрямленных ногах, подергал ягодицами, сказал из темноты:

— Насиделся, аж зад плоским стал.

Минуя ступеньки, Пятницкий спрыгнул с крыльца, фонариком осветил разминающегося Еловских.

— Послушай, комбат-восемь...

— Меня Павлом зовут,— отозвался Еловских.

— Послушай, Павел, у меня идея...

— Идею материализовать надо,— без труда догадался Еловских,— в голом виде она меня не устраивает. Так-то, комбат-семь.

— Меня Романом зовут.

— Проклятье, даже имен друг друга не знаем, фамилии — только из приказов. Не будь таких выходов в тыл — век бы не встретились. На том свете разве. Черта с два, там нашего брата со всех фронтов, поди-ка разыщи... Эй, Костяев, капитан! — обернулся Еловских к отставшему командиру гаубичной батареи.— Шире шаг! Как его зовут, Роман?

— Хасаном,— подсказал Пятницкий.

Худой, нескладный комбат-девять предложил:

— Идемте ко мне. У меня этого добра вдоволь. На семерых похоронки ушли, а писарь, паршивец, «наркомовскую» по старой строевой записке получал.

Костяев с Пятницким открывали консервные банки, а Еловских ударился в мрачную философию. На совещании у него произошел обостренный разговор с замом командира полка по строевой майором Замараевым, который за какие-то старые грехи объявил Павлу трое суток домашнего ареста. И когда Еловских не без ехидства заметил, что от такого внимания к его особе уважения к майору не прибавится, Замараев вскипел и зловещим тоном спросил:

— А если еще трое суток прибавлю? Что на денежный аттестат останется?

За домашние аресты производились вычеты из офицерских окладов, и Еловских, глядя исподлобья и дерзко, ответил, что его не встревожат и десять суток — аттестата он никому не высылает. Замараев завел было нуду об элементарном долге перед родными, но Павел, обрывая, выкрикнул ему в лицо:

— Я знаю, что такое долг перед родными, и буду выплачивать его до смертного часа!

Тяжелый и неприятный получился разговор. Надо бы Павлу придержать язык, но и Замараев... Ведь знал же, что жена, дочь — все родные Павла расстреляны гитлеровцами...

Теперь, захмелев от первого стаканчика, Еловских придвинулся вплотную к Роману, помахивая для внимания распрямленным указательным пальцем, говорил:

— Насчет ощущения власти, Роман... Жажда подмять под себя кого-то, взобраться повыше, наслаждаться превосходством впитывалась в душу человека веками. Пусть коза, но на горе, и она уже выше коровы в поле... Дядька мой до революции половым в трактире служил, а в двадцатом

вознесся до начальника милиции района и сразу прислугу завел... Превосходство, оно... У превосходства один корень с превосходительством, остается только притяжательное местоимение «ваше» добавить. Мысль о сложностях жизни, ее углах и овалах, о том, что надо делать ее пригожей для всех, а не только для себя, у таких людей, Роман, никогда не родится. А если родится рахитичная, похожая чем-то на эту мысль, они, мерзавцы, еще в пеленках ее придушат... А-а, подь они все верблюду в ноздрю! Ты вот лучше скажи: письма родным убитых написал? Не похоронки — письма?

— Когда, неразумный? — удивился Пятницкий.— Вы трое суток в Цифлюсе, а я только из боя.

— Извини, Роман... Как вы там? Потери большие?

Батарея Пятницкого и две минометные роты поддерживали батальон майора Мурашова, который добивал в лесу несдавшуюся группировку немцев. Роман ответил:

— Обошлось. Подняли белый флаг и вышли. Почти двести человек.

Разговор в застолье егозливый, но и в этом есть своя закономерность. Еловских пристукнул стаканом по столу:

— Вот! У меня тоже двести человек было, а то и больше.— И снова, сосредоточивая внимание собеседника, выставил указательный палец: — В Литве, под Вилкавишкисом. Худо было, но я не поднял белого флага... Танковая дивизия «Великая Германия» раскидала нашу пехоту — страшно вспомнить. Город сдали, перемешались, командиров потеряли. Эти двести с тремя полковыми пушками без снарядов прибились к моей батарее. Ждали: сейчас старший лейтенант что-то скажет, гаркнет какую команду, и они прозреют, обретут силу... Можно было гаркнуть. Они бы пошли на танки с голыми руками...— Еловских долго и мутно смотрел на стакан, плеснул в него из фляги, но пить не стал, продолжил сдавленным голосом: — Я сделал иначе... Я уже знал тогда о жене, родителях... Дочке было полтора года... Что там моя жизнь! Кликнуть пяток добровольцев, остаться с ними, пока другие двести пробьются. Так просто... Но это простое тогда мог и Валька. Он не мог много, того, что мог только я. Среди двухсот я оказался старшим по званию. Руководителем признали — меня, поверили — в меня, надеялись — на меня. И выручать их из беды мне надо было. Я сказал Вальке, своему последнему взводному: «Бери, Валька, любой расчет, пушку, тридцать семь снарядов, что не израсходованы, удержи танки, пока я людей и технику из окружения вызволю». Видел бы ты Валькины глаза! Но он остался, а мы пробились. Снова дрались. Мои двести потом обратно Вилкавишкис брали...— Павел потянулся через стол, подвинул к себе чей-то кожаный порттабак, подрагивающими пальцами стал скручивать папиросу. Цигарка лопнула, Павел бросил ее и

выпил налитое в стакан. Подышал по-рыбьи открытым ртом, спросил: — Роман, ты бы мог так? Друга своего и еще шестерых?

— Если иного выхода нет...— неуверенно, собираясь с мыслями, начал Пятницкий.

— Но это жестоко! — вскриком перебил Еловских.

— Вся война, Павел,— жестокость.— Роман хотел сказать это мягко, успокаивающе, но фраза прозвучала менторски нудно. Еловских вздернул голову и неприязненно уставился на Романа.

— Ты мне брось эту высокую материю. Война... ' Я о Вальке говорю, о бесчеловечной арифметике: семеро под гусеницами — не двести... Но я смог! Я решился на это простейшее сволочное действие! Больше не смогу. Больше на такое у меня нет сил, Роман.— Помолчал, неприязненный взгляд сменился пытливо-проникающим:— Второй раз, Роман, ты бы смог?

— Что ты мне душу вяжешь! Все зависит от обстановки. Командир обязан это делать, иначе он не командир...

Еловских сопел и разглядывал Романа хмельными глазами. Навалился ребрами на столешницу, погрозил пальцем:

— По харе вижу — сможешь... Второй, третий и пятый раз сможешь. А я — нет. Кончился во мне командир, под Вилкавишкисом дух выпустил.

— Вспомнишь своих ребят,— с надсадной тоской произнес Хасан Костяев,— горло перехватывает. А если всех вспомнить? Миллионы в земле зарыты! От такой мысли сердце не должно выдерживать, а оно выдерживает, жить велит, драться до победного конца.

Роман прикрыл глаза, вздохнул и, будто досадуя на что-то великое и мудрое, но поступающее вопреки своей сущности, продекламировал:

— «Что ела ты, земля,— ответь на мой вопрос,— что столько крови пьешь и столько пьешь ты слез?» Сто лет назад написано. Сейчас слез и крови больше...

— Напишут и об этой войне, не хуже напишут,— убежденно сказал Костяев.

— Все стихотворение — две строчки,— продолжал Пятницкий,— а какая страшная картина! Будто убитые за все войны человеческой истории враз в один голос спросили. Только земля тут ни при чем. Дождями, солнцем была бы сыта, а люди кровью ее, кровью... Своей кровью. Наши потомки будут ужасаться тому, что творилось. Им мало будет наших писем, стихов, книг. Антропологи найдут способ, как из атомов распыленной под солнцем мертвой человеческой плоти воссоздать, вернуть к жизни хоть одного фронтовика, чтобы спросить его: как вы могли все это вынести и победить? Услышать свидетельство не от бессловесных, немых, бесплотных документов — от живого человека.

— Оставляю в гильзе записку,— сказал Еловских застоявшимся голосом,— чтобы меня первого воскресили.

— Не надо воскресать, Павел,— с улыбкой возразил Костяев.— Раскаешься. Из четырнадцати миллиардов нервных клеток, что имеет человеческий мозг, умственной работой мы занимаем только семь процентов. У тех, которые тебя оживят, разовьются все четырнадцать миллиардов. И будешь ты перед ними дурак дураком. Олигофрен, одним словом.

— Нет, Костяев, хоть вполглаза глянуть, что там за нашей смертью, за какие коврижки мы умирали.

В это время растворилась дверь, всунулся ординарец капитана Костяева.

— Сальников идет! — испуганно предупредил он.

— А-а, вы здесь, соколики! — голосом городничего приветствовал своих комбатов вошедший следом за бдительным солдатом капитан Сальников.— Как, голубчики, поживаете?

Толстоногий, широкогрудый, брэнча расшатанными дощечками паркета, он прошел к столу, потряс одну флягу, другую.

— На который заход нацелились?

— Шабашим, товарищ капитан,— улыбнулся Костяев.— Но с вами... Галимзянов, марш за резервом!

Ординарец рванулся к двери, но Сальников вытянутой рукой преградил ему путь.

— Не надо. Мы у Сергея Павловича коньячком побаловались. На вашу сивуху теперь не потянет.

— Как хотите. Было бы предложено.

— Спасибо, Костяев. На огонек зашел. Опасение возникло — не засиделись бы.

— Напрасно вы так, товарищ капитан,— успокоил комдива Еловских.— Не у тещи, поди...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

«Студебеккер» натужно гудел и спячивался. Подфарники скудно отодвигали кромешную тьму, освещая понизу корявые стволы яблонь, неухоженность садовой земли. Ветви деревьев скребли борта и брезентовый верх кузова. Под колесом что-то захрустело, машину качнуло.

Взвизгнули тормоза. Старшина Горохов, чертыхаясь, поспешил к машине и стал колотить кулаком в дверцу кабины:

— Конопатый! Чтоб тебя мама разлюбила. Куда прешь, не видишь?

Коломиец высунулся из машины, разглядел старшину и, огрызаясь вполголоса, прыгнул на землю. Хлопнул в сердцах дверцей, пошел посмотреть, что так разволновало Тимофея Григорьевича.

— Любишься! — кричал Горохов, тыча лучом фонаря в задние скаты. Поплясывая конусом света, показал развал мешков и ящиков.

— А, сатана вас углядит в темноте. Нашли, где каптерку...— успокаиваясь, упрекнул старшину командир отделения тяги.— Хорошо, хоть консервы давал, мог бы вас вместе с писарем.

— Замолкни, дура коричневая,— проворчал Горохов и стал уточнять потери от содеянного Коломийцем.

Урон был невелик. Старшина, облегчая себя воркотней, сказал:

— Колька, за это безобразие я тебя «наркомовской» лишу... Спячивай сюда. Курицын сын, и вся шоферня у тебя такая...

Ориентируясь на свет машины, натываясь на ветви, прибежал восторженно-довольный Алеха Шимбуев. Не опуская согнутой руки, которую, чтобы не остаться без глаз, держал у лица, Алеха радостно доложил:

— Дядька Тимофей, тут изба — что надо! Совсем целая. Шесть комнат, всю батарею разместить можно. Две я досками подпер — комбату и под каптерку. Надо перетаскать шмутки.

Старшина посмотрел в ту сторону, откуда появился Алеха. Отдаленные плотной темнотой, там изредка вспыхивали запретные огни фонарей, обрисовывая квадраты окон. Пушкеры обследовали жилье, спеша приткнуться, уснуть, забыться перед новыми заботами.

— Ничего перетаскивать, Алеха, не будем. Завтра.

Шимбуев еще не все сказал о разведанном в доме.

— Дядька Тимофей, барахла-а там... Полные шкафы... Ужас. А пери-ины...

— Я те дам перины,— Тимофей Григорьевич строго посмотрел на оживленного Шимбуева.— Руки оторву по самое некуда. Видел за деревней стога соломы? Вот и тащите, лучше перин будет.

— А комбату? Тоже на соломе? — склонился Шимбуев на старшину.

— Комбату возьми две перины. И простыни две. Да смотри, чтобы стиранные, а то наградишь лейтенанта фашистскими вошами.

— Что ты, дядька Тимофей, разве я без понятия,— откликнулся Шимбуев, соображая, как под командирскую марку и себе перину организовать.

— Без понятия... Понятия в тебе еще с гулькина нос. Иди давай. И смотри насчет барахла. Тут ведь люди живут, хотя и немцы. Может, сироты, у которых мы отцов поубивали. Очухаются в бегах, вернутся. Им жить надо.

— Слушаюсь, дядька Тимофей, всем накажу.

Из-за «студебеккера» появился лейтенант Пятницкий. Старшина скользнул по нему светом фонаря.

— Товарищ комбат? До-олго вас муржили...

— На батарее как дела? — спросил Пятницкий.

— Очень даже хороши, только никуда не годятся.

— Что-нибудь случилось? — насторожился Пятницкий.

— Нет-нет. Так я, от настроения. Колька, холера конопатая, подпортил. Жаль, гауптвахты нет, упек бы его на пару суток.

Коломиец отозвался из темноты:

— Старшина, сделай милость. Водочную пайку за месяц вперед отдам.

— Что за народ,— беспомощно помотал головой Тимофей Григорьевич.— Ты им слово, они — десять.— И стал подробнее отвечать на спрошенное Пятницким: — Не беспокойтесь, все как положено. Орудия в парке, на чурбаках. Стволы засветло с керосином продраили. Снаряды, которые лишние, Колька на склад отвез, вернулся вот, курицын сын, консервы мне... Лейтенанты — в парке. Насчет бани Семен Назарович, санинструктор, распоряжение мое получил. Спать личный состав сам уложу. Вам бы тоже лечь, после водочки-то в самый раз.

— Унюхал?

— Чего нюхать? Живые, поди, люди. Из боя ведь, офицеры к тому же. Как без водочки. Взводным вон тоже фляжку налил, выпьют с устатка.

После совещания в штабе, дружеского застолья и успокоительного доклада Тимофея Григорьевича Пятницкому хотелось чего-то обыденного, простого, дурацкого. Оттянул средний палец и щелкнул им верного ординарца в лоб. Крепко щелкнул, не жалеючи. Носишко Шимбуева собрался в страдальческие морщинки.

— Так его, товарищ комбат,— одобрил Горохов.— Думал, за соломой убежал, а он тут сшивается.

— Пятеро за соломой ушли, дядька Тимофей! — рассерженно выкрикнул Шимбуев, потирая лоб.— Я комбата хотел подождать!

Грозно, как самому казалось, Пятницкий спросил Алеху:

— Сколько раз говорил, что есть старшина, а не дядька Тимофей? — Спросил и сам же ответил: — Тысячу раз. Ты мне брось эту деревенщину, пастух козий.

— Никогда пастухом не был, я комбайнер,— буркнул надутый Алеха.

— Не комбайнер, а боец Красной Армии,— продолжал увещевать Пятницкий.— Это вы, товарищ старшина, распустили их, племянников. Подтягивать надо дисциплину.

— Я стараюсь, товарищ комбат,— проникая в тайное Пятницкого, проговорил старшина.

Хотелось дурацкого, по-дурацки и получилось. Пятницкий повернулся к Шимбуеву.

— Что, больно?

— А вы думали.

— Не дуйся, до свадьбы заживет,— утешил его Пятницкий.— Сообрази поспать, с ног валит.

Стоило Пятницкому утонуть в перинах, заботливо взбитых Алехой Шимбуевым, как все закачалось, поплыло, закружилось. Блаженно улыбаясь, он успел прошептать: «Спасибо, пастух козий, разбуди в четыре» — и провалился в сладкую немоту покоя.

Говорят: уснул как. убитый. Разве убитые спят? Спят живые. Убитые — это убитые, неживые, мертвые, их никогда не будет. Будут слезы о них, сохранится-и память о них на долгие-долгие годы, а их, бездыханных, не будет.

На перинах спал живой лейтенант, еще не убитый командир пушечной батареи, которому от роду неполных двадцать лет.

Спать бы да спать ему, отдавая пуховикам накопленную усталость. Спать каждой клеточкой, каждой жилкой, каждой кровинкой — без дум и сновидений. Но война есть война, она не покидала Пятницкого даже на перинах.

Боль о тех, кого никогда не будет, притупили суета отхода во второй эшелон, проческа лесов от вооруженных и не сдавшихся гитлеровцев, другие заботы. Эта боль сжалась в комочек, упряталась в дальних закоулках сердца, и сейчас, во сне, она растекалась отравой по всему телу, давала о себе знать. Проступали видения в угарных потемках, мучили и в конце концов заставили Пятницкого открыть глаза, услышать, как часто и гулко стучит сердце.

За окнами голубел рассвет. Значит, поспал все же.

Когда взбудораженная кровь притихла, поуспокоилась, приснившееся стало видеться не в бредовой дымке, а так, как было,— стало видеться памятью. Пятницкий закинул сцепленные в пальцах руки за голову.

В полумраке коровника, вдоль стены — лежащий строй. На правом фланге — лейтенант Рогозин, рядом — сержант Горькавенко. Потом уж рядовые Кулешов, Сизов, Тищенко, Мишин, Огиенко, Бабьев... Как убили Сизова и Кулешова, Пятницкий не видел. В то время его самого убивали.

Орудие младшего сержанта Васина стояло у скотного сарая восточной окраины Бомбена, и то направление считалось менее опасным. Туго приходилось расчету на высотке, при штурме которой был убит Горькавенко и смертельно ранен лейтенант Рогозин, и Пятницкий чаще находился там. На этом бугре то и дело вспыхивали рукопашные. В одной из них побывал и Пятницкий.

Не первая, может, и не последняя для него рукопашная, но могла быть и последней. Когда возле огневой позиции Кольцова раздались автоматные очереди и разрывы гранат, Пятницкий, прихватив Шимбуева, поспешил туда. Возле орудия шла свалка, в которой трудно было сразу разобраться.

Охваченные бешенством, пушкари теснили напавших вниз к ручью и не видели, как другая группа немцев, раскачивая их «зис», пыталась выкатить его из окопа. Немцы никак не могли смириться с тем, что их пушка, исковерканная взрывами кумулятивных «фаустов» группы Рогозина, валялась тут же, и хотели притащить взамен русскую. Пятницкий, остерегаясь повредить прицел, понизу стеганул автоматной очередью. Немцы бросили оружие и скатились под уклон. Оставив Шимбуева у пушки, Пятницкий кинулся к другому склону, густо заросшему кустарником,— туда, где шла драка.

Удар был несильный, показалось — споткнулся в цепкой низкостелющейся заросли, но в следующий момент почувствовал, как клешнятые жесткие пальцы, нащупывая горло, в бешеной торопливости скользнули по воротнику шинели. Не знало тело Романа никакой хвори, живым и крепким было, но, видно, все же жиже замешено, чем у немца. Близость смерти взъярила, взрывчато подбросила силы ухватить пальцы, сжимавшие горло, заломить их на всю боль, освободить дыхание. Немец содрогнулся, зарычал, подтянул ногу и всей тяжестью вмял колено в подреберье Пятницкого. Не подоспей Шимбуев, быть бы сейчас Пятницкому в том лежащем строю правофланговым. Вот и не видел, как погибли в рукопашной Сизов с Кулешовым...

Вспомнил все это, и сердце зачастило снова. Роман расцепил пальцы, с мычанием потянулся и тут же испуганно вздрогнул от шершавого и мокрого прикосновения к лицу. Бросив передние лапы на кровать, нерешительно пошевеливая хвостом, на него смотрел рыжешерстый пес.

— Ах, чтоб тебя! — сгоняя испуг, громко крикнул Пятницкий.

Пес ужался и нырнул под кровать. В комнату заглянул дядька Тимофей.

— Что случилось, комбат? Или во сне поблазнило? — спросил он.

Пятницкий усмехнулся, качнул пяткой под кровать.

— Посмотри там.

Горохов прошлепал босыми ногами по крашеному полу, присел. Пришел и Шимбуев — любопытно было, чего это старшина помчался в комнату комбата в одних подштанниках. Стоя на коленях, Горохов заломил на него голову, спросил ехидно:

— Алешка, как же так? Уложил комбата, а под кровать не посмотрел. Там же немец живой.

— Чего буровишь? — вылупил глаза Шимбуев.— Никого там не было, смотрел я.

Потревоженный старшиной, худой большеголовый недопес немецкой овчарки, поскуливая, отполз в дальний угол.

— Как попала сюда эта тварь? — возмутился Шимбуев.

— У тебя надо спросить, тетеря бесхвостая. Вот сниму с ординарцев, определю на кухню вместо Бабьева,— напустился на Алеху сердитый Тимофей Григорьевич.

Злость дядьки Тимофея Алеха переадресовал собаке.

— У-у, какая зверюга. Она покусала вас, товарищ комбат?

Тимофей Григорьевич сел рядом с собакой, стал поглаживать с причитанием:

— Песик, дурашка, сиротинка животная...

— Дядька Тимофей,— испуганно предостерег Шимбуев,— смотри, цапнет!

— Ты в уме? Щенок еще.

— Хорош щеночек. С теленка,— все никак не мог настроиться Алеха на дружелюбное к собаке.

Старшина задрал голову, показал непробритую шею, прошипел сердито:

— Уйди со своим настроением, не действуй на собачонку.

Пятницкий, застегивая нижнюю рубашку, строго остановил Шимбуева:

— Почему не разбудил как велено? — И к старшине: — А вы? Пользуетесь, что комбат дрыхнет. Где баня? Кто людей мыть будет?

Тимофей Григорьевич поднялся, колыхнул брюшком, соединил голые пятки и послушно ответил:

— Сейчас все будет сделано.

Добродушно морща губы, он вышел.

Подавая Пятницкому гимнастерку, Шимбуев укоризненно сказал:

— Дядька Тимофей только что прилег. Всю ночь с Липатовым возились, сделали в этом... Ну, где свиньям жратву варят. Выскоблили, соломы настелили. Фрицы, наверное, в корытах моются, ни одной бани в деревне. Свою сделали. Хорошая баня получилась. Хозотделение и взвод управления уже моются. Вон, слышите? Визжат, может, чего поросычьего налопались.

Пятницкий прислушался. Восторженный стон, хохот, уханье, тонкое прерывистое повизгивание, смачные шлепки по мокрым ягодицам... Разделяя голоса, Пятницкий с душевной болью отличал девчоночье повизгивание повара Бабьева, гулкий, как в бочку, хохот Горькавенко, певучие картавинки Сизова... Но тут надсадный, с задыхом, подвизг замученного щекоткой сменился безостановочной матерной бранью — и сгнули голоса мертвых. Пятницкий, окончательно отгоняя наваждение, больно подпер лицо и явственно услышал Васина в его нетленном репертуаре, Липатова с подвальной уханьем, Женю Савушкина с залиvistым голоском...

Пятницкий глянул в окно, увидел старшину Горохова, который, хлябая надернутыми на босу ногу сапогами, тащил узел с бельем, и ощутил неприятную подавленность своей неправотой. Принимая гимнастерку,

заметил свежий подворотничок. С повинной расположенностью обнял ординарца.

— Спасибо, Алеха, за заботу твою. За немца того — особо.

— Нашли о чем вспоминать,— отмахнулся растроганный Шимбуев.

— ...ревела бы сейчас Настенька, умывалась слезами...

Шимбуев посмотрел на затосковавшего комбата и, проникаясь состраданием, спросил:

— Карточку покажете?

Роман вспомнил заплаканное лицо Настеньки, ее теплые руки с протянутой фотографией. Фотографию она держала так, как держали икону в старину, благословляя уходящих на войну служивых.

— Я тут плохо вышла,— говорила она,— никому не показывай. Только для тебя.

Вспомнив это, грустно ответил Шимбуеву:

— Настенька не любит, когда на нее посторонние смотрят.

Алеха растерянно помигал, вернулся к своим обязанностям:

— Сейчас умыться принесу, потом завтракать. Коломиец из ПФС кое-что трофейного прихватил. У него земляк там.

Высказав это, Шимбуев проворно покинул спальню Пятницкого.

Разглядывая себя в не выпавшем из рамы клинышке разбитого зеркала, криво висевшего на стене, увидел позади поднятую в любопытной настороженности морду потревоженной и забытой теперь собаки. Она лежала на прежнем месте и присматривалась к происходящему.

В жизни Романа был один-единственный четвероногий дружок — Бобик, дворняжка, хвост крендельком. Завел, кажется, в девятом классе. На книжку выменял.

Еще в училище написали из дома, что окривел Бобик. Кто-то вышиб глаз палкой. Позже собачники поймали на петлю из проволоки. Как давно это было! Сто лет назад.

Пятницкий перебирал шерсть за ухом покорно лежащего пса — исхудавшего, шейные позвонки как трубка противогазная — и разговаривал с ним:

— Что, набрался страху, как я завопил? То-то, не лезь в постель, не лижись... Сколько же тебе месяцев? Три? Пять? Где хозяйева? Нас испугались, удрали? Как тебя звать? Бобик, Шарик? Кабыздох? Э-эх ты...

Пятницкий поднялся. Встал и пес. Хо-орош пес! Подкормить — матерый вырастет.

Вернулся Тимофей Григорьевич.

— Идемте завтракать, товарищ комбат. Шимбуев стол изладил, как в ресторане. Где только видел такое, мамкин сын. Вилку, говорит, слева, ножик — справа...

Перехватив направленный на собаку взгляд Пятницкого, Тимофей Григорьевич потер переносицу. В самый раз бы скуластому лейтенанту с собачкой возиться, книжки читать, с девчонками обниматься, а он — подумать только! — батареей командует, дивизионом стрелять доверяют. Шутка ли, сидеть под носом у немцев и бить по ним из орудий, которые черт знает где! Такое на финской повидал, но думал, что это под силу только тем, у кого ромбы в петлицах...

— Командирам взводов сказали про завтрак? — спросил Пятницкий.

— Младший лейтенант Коркин придет, а новенький занят. Просит туда принести. Кабель перематывают, побитого да голого много... Пойдемте. Собаку не хотите оставлять? Забирайте с собой.

— Дайте ваш ремешок, — кивнул Пятницкий на потертую до кирпичного цвета кобуру Горохова.

Тимофей Григорьевич, привыкший к нагану еще по работе в заводской охране, а потом на финской войне, не захотел иметь другое оружие и теперь носил эту древность в кобуре из толстой кожи, пристегнув рукоятку к кольцу на командирском ремне. Старшина отцепил карабинчики, подал ремешок Пятницкому.

— Это правильно, у него ошейник есть.

Пятницкий защелкнул пружинящий крючок за колечко ошейника, потянул собаку к дверям.

— Пойдем, песик, пойдем. По-русски не понимаешь? Ну, ком, ком, коммен... Пойдем, значит.

— Нихт ферштеен кобелек, — засмеялся Горохов и поманил щенка: — Иди сюда, иди, собачка. Ком... Камка ты, Комка... Глядите-ко, хвостом завилял, на Комку отзывается...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Даже не верилось — десять километров от передовой! В бане отменно помылся, отоспался, кинопередвижка приезжала, в сарае для ансамбля помост сколачивают, военторг торгует, гимнастерку можно ушить у портного, сапожник молотком постукивает... Курорт, да и только! Правда, со временем не как на курорте — успевай поворачиваться. Артмастер Васин, с утра и до ночи хлопотавший со своими и не своими пушками, так обстановку обрисовал:

— Как у той хозяйки поутру: печку топить надо, корова недоена, квашня убежала, поросята голодные, ребенок обмарался и сама ... хочу.

Туго было со временем. Все же в полдень вырвался из артмастерской, чтобы кое-что сверх запланированного сделать. Три письма написал родным погибших, в медпункт сбегал окалину из глаза убрать.

Алеха Шимбуев, вернувшийся со склада ГСМ, куда ездил с Коломийцем получать горючее, прибежал к Пятницкому с потрясшей его новостью.

— Товарищ комбат, в те хаты немцы заселились! — ошеломленно сообщил он. — Старики, бабы с ребятишками!

— Ну и что из того? — охладил его равнодушием Пятницкий.

— Дык, интересно...

Пятницкий пожал плечами. Что интересного в том, что в дома на отшибе, полуразрушенные и потому оставленные солдатами без внимания, немецкое население вернулось? Подумал так и понял: весть и для него любопытная, и тут же побеспокоился о собаке. Может, хозяева заявились, а нет — кому другому песика оставить. Не велика беда, если отлучится на короткое время.

Шимбуев беспокойно ждал, что решит комбат. Пятницкий сказал:

— Сходи за Комкой, прихвати у старшины булку хлеба.

Шимбуев скособолил голову — чего это комбат удумал? — спросил:

— Немцев, что ли, кормить?

— Иди и делай, что сказано, — насупился Пятницкий.

По дороге к старшине, когда остался один, Алеха бурчал:

— Я бы накормил их чем... Нашел бы чем...

Комка шел без поводка. Роман с огорчением подумал: узнает кого — сразу убежит. Пес кружился в придорожных кустах, побегал за рано отогревшейся бабочкой-крапивницей, игриво полаял в чью-то нору, поскреб ее лапами.

Ближний дом, множество раз продырявленный войной, был пуст, из второго пулей вылетела девчонка лет восьми. Оглядываясь, насмерть перепуганная, она скрылась в сарае. Это было длинное строение из кирпичей, связанных бревнами-крестовинами, напоминавшее наши амбары. Оно уцелело более других. Только пробоина под стрехой, да черепица кое-где пообсыпалась.

Как амбар по-ихнему? Шуппен, кажется. Нет, шуппен — сарай вроде бы. Амбар как-то иначе. Попытка поворошить свои знания немецкого раздражила Пятницкого. Какие там знания, мусор один!

Вошли в дверь, за которой исчезла девчонка. Хоть и подняла она там тревогу, запереться не посмели. Заскрипела пересохшая дверь, пропустила Пятницкого с Алехой. В помещении с устоявшимся запахом мякины был полумрак. Присмотревшись, Пятницкий раздраженно подумал: зачем приперся? Что тут делать? О чем с ними говорить? Сидят вдоль противоположной стены — на узлах, на чемоданах, на тележках в четыре

колеса. Морщинистые, усохшие старики и старухи, в глазах — один смертный ужас. За спинами старух и под тряпьем укрылись ребятишки. И у них на лицах страх взрослых. По той же причине — от страха — нет здесь ни девок, ни женщин молодых. Как же! «Русские иваны насилуют всех, потом расстреливают».

Сказать или не сказать ихнее «гутен таг»? Что-что, а это Роман помнил, на каждом уроке немецкого языка, встречая учительницу, гудел эту фразу в нос. Сказать — вроде бы глупо получится. Экий джентльмен явился! Ладно, если бы после приветствия поговорил о чем. Ведь как рыба молчать будешь. Так что и сейчас помолчи...

Комка, виляя хвостом, подбежал к немчуренку, тот — в рев, так зашелся, вот-вот задохнется. От этого рева немцы еще больше оцепенели. Комка тоже труса сыграл — поджал хвост и вылетел вон.

Небритый, гунявый старик — кожа да кости — поднялся при появлении русских сразу и стоял теперь истуканом. Из столбняка его вывел рев ребенка. Подрожал отвислыми щеками, для начала, как пароль, прошамкал: «Гитлер капут» — и стал тыкать себя пальцем в грудь:

— Русски плен... Говорить кляйн слофф... малё...

Такая покорность, такая угодливость на лимонном дряблом лице — плюнуть хотелось.

— Не знаете, чья это собака? — кивнул Пятницкий на дверь, за которой скрылся Комка. — Кто хозяин? Здесь нет его?

— О, хунд! Наин хозяин. Хаус... Дом ист Шталлупенен.

Эвон откуда! Почти у самой границы с Литвой.

— Чего бежали-то? Геббельс уговорил?

Видно, только Геббельса и понял старик, поспешил на всякий случай, как и от фюрера, откреститься:

— Капут Геббельс. Швайн Геббельс!

Вот это старик! Свиньей назвал Геббельса.

— Голодные, поди? Есть хотите? Брот, киндер, ессен.

Старик испуганно помигал воспаленными веками, втянул черепашую шею.

— Герр оффицер, найн брот... Вир хюнгерн...

Не совался бы ты, Пятницкий, со своим немецким! Этот ветхий пенёк еще подумает, что ребятишек с хлебом съесть хочешь. Не стал больше Роман искушать себя немецким языком, взял у Шимбуева из-под мышки буханку, сунул старику в руки.

— Детей покормите. Киндер, ферштейн? — порубил ладонью воздух на части, потыкал пальцем на ребятишек, дескать, на них поделить надо. Резко повернулся и, зло возбужденный, вышел. С отвращением вспомнил свою

школу. Несправедливо, конечно,— всю школу, но кое-что в ней иного и не заслуживает. С бешенством спросил Шимбуева:

— Алеха, здорово я по-немецки говорю?

— Да уж куда с добром,— с подозрительной интонацией ответил Шимбуев.

— Ты что, в способностях комбата сомневаешься? Так слушай: перфект, имперфект, плюсквамперфект, номинатив, аккузатив... Во, а ты...

— Ну и поговорили бы. Чего вас из сарая как ветром выдуло?

— Страсть какой ты невоспитанный. Не веришь, грубишь начальству...

Довольный, что сумел задеть лейтенанта, Шимбуев кривил губы в усмешке. Пятницкий все еще не мог успокоиться, шел быстро и рассерженно. Подумать только, с пятого класса немецкий язык учил, по два часа в шестидневку, да домой задавали. Сколько же это получается? Имперфект, генитив... Подавились бы этими спряжениями да склонениями. Десять слов к уроку! Назубок! Под страхом исключения из школы! И не надо бы ничего больше. Без спряжения, в одном падеже. Умный поймет, а с дураком и говорить нечего. Через шесть лет... Подсчитал, сколько учебных часов в году, умножил на шесть, повернулся к Шимбуеву.

— Алеха, таблицу умножения помнишь?

Шимбуев даже остановился.

— Комбат, я уже думал однажды, что у вас клепка выпала, больно вопросы-то... Как с печки шлепнулись.

— Помнишь или нет?

— На хрена мне таблица, без нее сосчитаю.

— Тогда считай: шесть раз по восемьдесят одному, да на десять умножить.

— Четыре тысячи восемьсот шестьдесят,— без промедления отчеканил Шимбуев.

Пятницкий подозрительно посмотрел на Шимбуева, наморщил лоб, проверил подсчет.

— Точно. Ты это как так?

— А я знаю? Сосчиталось, и все.

— Ты кто? Пифагор? Лобачевский? Софья Ковалевская?

— Честное слово, комбат, у вас с головой неладно. Бабу еще приплел. Шимбуев я! — ухмылялся Алеха.

— Странно... Зря тебя из училища под зад коленом... Ладно, Алеха,— отложил Роман свое удивление на потом.— При моей системе обучения я мог бы знать сейчас четыре тысячи восемьсот шестьдесят немецких слов, а я не знаю. И плюсквамперфект ни в зуб ногой... Дурак дураком перед этим плешивым пнем. Срамота!

— Значит, батька драл вас мало. Меня вон драли, как Сидорову козу, потому не дурак и считаю быстро.

Пятницкий от души захохотал, испугал собаку и, верный себе, тут же весь удар перенес на собственную персону: на самом деле, лупить надо было. Не так учили, видите ли, не то учили... Сам-то что? Каким местом думал?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Раздосадованный Пятницкий заперся с Курловичем в своей комнате. Курлович давно поджидал его с актами на списание израсходованных снарядов, автоматных патронов, гранат, горючего, обмундирования, закопанного вместе с убитыми.

В дверь постучали.

— Войдите,— недовольно отозвался Пятницкий.

Вошел старшина Горохов. Козырнул, подарил комбату улыбку самого большого калибра.

— Пополнение привел, товарищ комбат! — стукнув сапогами, радостно доложил он.

Пятницкий засобирался незнамо куда, поправил под ремнем складки, застегнул ворот.

— Много?

— Девять человек.

Пятницкий было потускнел, но что делать. В голой степи, говорят, и жук — мясо. При его бедности и девять человек — великое дело. Спросил Тимофея Григорьевича, где сейчас вновь прибывшие.

— Тут, у крылечка. Приказал вас обождать.

— Стройте, сейчас буду. Хотя... Вот что, Тимофей Григорьевич. Соберите всех, кто поблизости,— и сюда, вместе с новичками. Будем знакомиться.

— Тех, что кабель проверяют, звать? — обеспокоился старшина.

— Их не трогайте. Передайте, чтобы сильно рванный не мотали. Новый обещали, немецкий.

Пополнение присылали и раньше, не без этого. Одного-двух для затыкания прорех в некомплекте, успевал перекинуться парой слов — и все. Остальное на командиров взводов перекладывал. Распивать чай на передовой комбату негде и некогда. А сегодня... Сегодня все условия посидеть в помещении, по которому едва ли ударит снаряд, поговорить, сколько время позволит, всей солдатской артелью щец похлебать... Потом, когда люди в шинелях, все равно что в бане, хотя и не голые. Поди разгляди, кто и что из них значит. А тут ордена, нашивки красные и желтые — вся биография на гимнастерке. Правильнее оценят друг друга, сойдутся быстрее.

Роман мельком покосился на свою гимнастерку, где с недавних пор рядом с Красной Звездой хватко угнездился орден Александра Невского. Таиться, что ли? Не ворован, поди...

Невелика у Пятницкого батарея после боев, к тому же часть людей на различных работах. Поэтому комната с нетронутой обстановкой бежавших хозяев, где расположился старшина с каптеркой и спал Шимбуев, вместила всех. Те, кого Горохову удалось собрать, вошли с наполненными котелками. Расположились на подоконниках, на ящиках с консервами и концентратами, а то и просто на полу. Шимбуев вознамерился было снабдить комбата тарелкой пошкарнее, полез в посудный шкаф, но передумал. Догадливый малый проявил доморощенную тонкость: выставил перед Пятницким котелок, ложку вытер о подол гимнастерки.

Народ разношерстный. Трое, судя по выправке и недавно шитому обмундированию,— из запасного полка, последний призыв, остальные, пожалуй, из госпиталей: постарше этих трех, пожившие. Лесенки нашивок за ранения, медали. Да и с лиц еще не стерлось сожаление об утраченном госпитальном, пусть относительном, но покое. Поэтому показались увалистей и ленивей других. Пятницкий не спешил поддаваться начальному впечатлению, оно зачастую обманчиво.

Троица из запполка, похоже, побывала в руках хорошего служаки, вон какие вышколенные. Ну, а эти? Тот, что примостился на ящике, сдается, казах. В косых щелочках век — зеркально-бурые и быстрые глаза, а усы... Такую черноту редко встретишь в природе. И не медаль у Ходжикова, как показалось вначале, а орден Славы. Рядом с ним — толстоногий, с гневными складками на лице. Две полоски за ранения. Крутилев вроде бы. Долговязый, сидящий на мешке, хмурится что-то, на сапоги поглядывает, пошевеливает ими. Обмундирование не по комплекции, а сапоги жмут. Не забыть сказать Тимофею Григорьевичу, а то куда он в кандалах этих.

Глянул на четвертого, и к сердцу будто мягкое тепло прикоснулось. До чего же доброе, радостное лицо, столько в нем желания сказать хорошее, сделать что-то приятное. Пятницкий залюбовался солдатом и неожиданно спросил:

— Чему радуетесь, Мамонов? Так ваша фамилия, я не ошибся?

— Верно, товарищ лейтенант. Петром Ивановичем звать. А радуюсь... Письмо от жены получил, поклон от всей деревни. Даже неловко. Конечно, когда ты хорошо к людям, то и они к тебе...

Мамонов смутился. Пушкари — те, что от Гумбиннена с Пятницким, и те, что сегодня прибыли,— повернули к нему головы. Женя Савушкин, уже видевший в Мамонове нового хорошего приятеля, задрал подбородок, смотрит, в щелке рта белизна влажных зубов виднеется.

— Вы не смущайтесь, Петр Иванович,— подбодрил Пятницкий.

— Видите ли, товарищ лейтенант... Если бы я трактор или пару лошадей... Для колхоза бы заметно, а то иголки какие-то...

Мамонов рассказал, что на всю их деревню одна иголка осталась, да и та заточенная. Маруся, жена, написала ему об этом в госпиталь, поделилась горем. Выручила медсестра: раздобыла два пакетика трофейных иголок, вложила в письмо Мамонова с запиской: «Товарищи из цензуры! Сделайте, чтобы драгоценный подарок дошел до супруги отважного солдата Мамонова, пролившего кровь в боях с немецко-фашистскими захватчиками». И подписалась: «Медсестра Маша». Получила жена подарок, теперь вот сообщает, что в каждую избу по иголке досталось.

— Раздала! — ахнул кто-то изумленно.— Дура твоя жена. Шалава какая... Я бы ей раздал...

Все уставились на мясистого и дряблого рядового Гарусова, сидевшего рядом с Васиным на сеннике старшины. Он кривился и поматывал головой. Женя Савушкин настолько оторопел, что соображать перестал, не знает, как отнестись к случившемуся. Васин знал как: прочно ухватил Гарусова пальцами-тисками за мочку уха, подтянул к себе, тихо сказал что-то. Гарусов зажал опаленное ухо, продудел не очень воинственно:

— Видали мы таких учителей.

Пятницкий нахмурился. Откуда такой? Вот уж верно — не было печали...

Не стал смотреть на Гарусова, улыбнулся Мамонову, сказал, чтобы все слышали:

— Молодчина ваша жена, Петр Иванович! Бесценная женщина, умница!

Эта похвала еще больше задела Гарусова. И лейтенант туда же! Фыркнув, Гарусов заворочался на сеннике и, увидев рядом с лейтенантом собаку, озарился ядовитой улыбкой. Комка терся о ноги Пятницкого, подкидывал лапы, безболезненно хватал пастью руку, припадал мордой к полу и не знал, что еще надо сделать, чтобы выманить хозяина из переполненной людьми комнаты.

Гарусов поймал взгляд Пятницкого, спросил нагловато:

— Что, с собачками воюем?

Васин сунулся к Гарусову с разъяснениями, помянул сто редек. Шимбурев исподтишка показал кулак. Гарусов сквозь зубы вытолкнул похабное. Старшина Горохов переглянулся с парторгом Кольцовым — еще этого им не хватало!

— Тихо! — властно прикрикнул Пятницкий и повернулся к Гарусову: — Не с собачками, с фашистами воюем, рядовой Гарусов. Вы откуда прибыли?

— Я-то? Из запасного полка.

— Вставать надо, когда с командиром говорите, товарищ боец.

Гарусов поспешно поднялся, неумело поправил ремень.

— Специальность?

— Телефонист, товарищ командир.

— Это хорошо, Гарусов. Рад. Телефонисты очень нужны. Пойдете в отделение сержанта Липцева.

Из запасного полка оказалась и троица в новом обмундировании. Как один — огневики. Тому, белобрысому, восемнадцать, другим восемнадцать исполнится в этом году: одному летом, другому — осенью.

Особенно порадовали четверо, успевшие нюхнуть пороху. Ходжиков воюет второй год, дважды ранен. Кроме Славы еще и Красной Звездой награжден, но не получил. Разминулся с выпиской из Указа: она в госпиталь, он — оттуда.

После ухода солдат в комнате Пятницкого остался сержант Кольцов. Пятницкий догадался, почему задержался парторг батареи.

— О Гарусове, что ли? — спросил бодро. — Зря беспокоишься. Костяк у нас здоровый, обстругается.

— Не обстругается — обстругаем, — сказал Кольцов. — Поговорить, комбат, надо. В нашу группу еще двое добавились — Мамонов и Ходжиков.

— Заработался, из головы вон, что в батарее секретарь партячейки есть. Извини, Михаил Федорович.

— Собраться бы вечером. Теперь нас опять семеро. Парторг дивизиона обещался прийти.

Роман подсадовал, что самому не пришло на ум собраться. Поговорить действительно надо, непременно надо. Батарея — не взвод, тут у командира задачек побольше, будь голова хоть с котел — один не решишь. А задачки с такими действиями, что ни приказ, ни авторитет звания и должности не помогут.

От самой границы цивилизных не видели, теперь население стало попадаться. Какое требуется с ними обращение? У одних на сердце столько скопилось, что не в силах прощать никому, другие, напротив, — очень отходчивы, готовы во всю ширь распахнуть свою русскую душу. Вчера из прочесанного леса вышел один. Нашел скрадок, отсиживался, ждал, пока русские из деревни уйдут. Голод вытолкнул. Вот его бы за несдачу в самый раз к стенке, а славянам весело: какой худющий, какой заросший. Откармливать начали, парикмахер нашелся, собрался побрить несчастенького.

О гражданских и говорить нечего. Славяне готовы свой паек отдать. Эти цивилизные быстро нос по ветру настроили. Осмотрелись, воспряли. Прут с мисками прямо к солдатским кухням. Своего гражданского, будь это где-то в

России, на ружейный выстрел не подпустили бы к расположению воинской части, а тут...

Барахло это самое в пустующих домах... Коли брошено — взять можно. Брали. На портянки, на ветошь для чистки пушек. А тут разрешили посылки с фронта родным — раздетым да разутым за время войны, истощавшим на карточной системе. Что в посылку положишь? Барахло это? Противно же, унизительно...

Порассуждали вот так кандидат партии Пятницкий и член ВКП(б) с тридцать пятого Кольцов и спросили друг друга: как тут быть?

Пятницкий сидел хмурый, озабоченный. Жестко посмотрел на Кольцова и сказал непреклонным голосом:

— Будет кто из шкафов тащить — под суд отдам! Глазом не моргну!

— Где же выход? — мягко спросил Кольцов.

— Пойду в полк к замполиту, к самому Варламову! Есть же трофеи. Государственные склады, скажем... Пусть выделяют для солдат. Уйдем на передовую, эти трофеи до рядового Ивана вряд ли дойдут, начнут хапать по домам. Навоюем тогда...

— Сходите,— поддержал Кольцов.— Я с парторгом полка поговорю. Есть еще одна штука... Вчера огневики первого взвода клад в огороде нашли. Связки отрезов, новые костюмы, платья...

Пятницкий от коварного сообщения нащурился на Кольцова, спросил язвительно:

— Какой это, к черту, клад, Михаил Федорович?

— В земле — значит, клад,— усмехнулся Кольцов.

Пятницкий перестал пытливно разглядывать Кольцова, ухмыльнулся.

— Клад, говоришь? Ну, а что в недрах земли — достояние народа. Здесь народ — победившая армия.

— О чем разговор, комбат. Мы не возьмем — трофейщики заприходуют, на склады свезут.

— За мой компромисс ухватился? Ладно, Михаил Федорович. Посмотрим, как другие коммунисты рассудят.

Было о чем поговорить, о чем посоветоваться. Взять хотя бы тот недавний случай. Встретили группу женщин, угнанных гитлеровцами в Германию. Как ее? Маруся, кажется... У Мамонова жена — Маруся, госпитальная сестра — Маруся, и эта, из-под Минска, тоже Маруся. Кругом Маруси... Беременная эта Маруся. У бауэра работала. Туда же время от времени пленных пригоняли. Ослабела Маруся перед полоненным матросиком. А тут один долдон — освободитель называется! — пристал, поганец: от немца да от немца. От фрица, говорит, прижила. Если и от немца, то что? Ну, скажи, лейтенант Пятницкий. Или ты, парторг Кольцов...

Только вышел Кольцов, заявился Гарусов.

— Разрешите обратиться, товарищ командир.

— Слушаю. Садитесь, чего нам стоять,— сказал Пятницкий.

Солидно-тяжелый Гарусов улыбнулся в ответ, взял у стены стул. Бескровные десна и мелкие, с интервалом, почернелые зубы в изъединах мешали понять смысл

этой улыбки.

— Боюсь, командир, что буду плохим телефонистом. Надо катушки таскать, по линии бегать. Какой из меня бегалычик, я ведь конторский работник. Полегче бы куда,— Гарусов поерзал пухлыми пальцами по коленкам.

Пятницкий с оторопелым удивлением посоображал над тем, что услышал, но заговорил о другом — не о том, что хотелось Гарусову:

— Скажите, Гарусов, что произошло, что вы там с бойцами?

— Ничего особенного, товарищ командир. Я сказал что-то, они тоже. Бывает же... Я вот насчет...

— Насчет полегче? А как — полегче? — весело удивился Пятницкий.— На войне нет легкого. Катушки таскать, по линии бегать — это не все, товарищ Гарусов. Война многое другое заставит. Окопы, например, рыть. Как остановились — берись за лопату, выкопал себе в полный рост — огневикам беги помогать. Им не только для себя в полный рост, для пушек чуть не котлован надо, для снарядов ровики с нишами. Да разве одно это. Ведь война, товарищ Гарусов, фронт, люди гибнут. В любой должности надо солдатом быть — стрелять, ходить в атаку.. Вы больны, Гарусов? У вас ограниченная годность?

— Да нет, болел, потом ничего, призвали вот...

Ну что, лейтенант Пятницкий, скажи что-нибудь, посочувствуй, пожалей, должность, наконец, найди без рытья окопов, без стрельбы и опасности. Вон как у тебя сердце-то обливается, глядя на бедненького товарища Гарусова. А может, подумаешь немного да в роту Игната Пахомова уйти посоветуешь — на должность солдата Боровкова, которого одиннадцать раз ранило, а в двенадцатый подло — насмерть. Чем Гарусов хуже его? И моложе, и бодрее выглядит, и ран на теле нет.

Разбередив больное, Пятницкий сказал все же спокойно:

— Разве могут быть на фронте вольготные должности? Нет их, товарищ Гарусов.

Гарусов поднял на Пятницкого усталый, упрямо-недружелюбный взгляд, просипел осевшим голосом:

— Я не говорю — вольготных. Просто полегче. Мог бы при вас состоять вместо этого... Или писарем.— Он для чего-то поднес руку к лицу, посмотрел на заросшие волосами пальцы.

— Ах, вот оно что! — снова весело задело Пятницкого.— Вместо Алехи Шимбуева? Тут, понимаете, заблуждение какое-то, Гарусов. Ординарец командира батареи должен быть разведчиком номер один, лучшим из всех. Он спит меньше других, а ходит в десять раз больше. Он обязан отлично читать карту, владеть оптическими приборами, рацией, корректировать артиллерийский огонь. Вы умеете работать с картой? Вот видите. Только такие, как Шимбуев, имеют право «состоять» при командире. Вы понимаете, что в этом смысле вам с Шимбуевым не потягаться, вне конкуренции Алеха Шимбуев. Что касается котелка каши для командира или умыться принести... Алеха Шимбуев разумный парень и понимает, что у командира не всегда бывает время не только сходить за кашей, но и проглотить ее. Писарем? Курлович охотно уступил бы вам это место, да я не соглашусь. У Курловича глаза нет. Вернее, глаз есть, только... Заставь зашурить здоровый, он другим таракана в миске не увидит, съест таракана. Вот, а комиссоваться отказывается. Да и писарь он постольку-поскольку, чаще в орудийном расчете, бумаги в затишье между боями составляет. Вы знаете, сколько убито в последнем бою? Вот какие пироги, товарищ Гарусов.

Гарусов сопел, обтирал шапкой лоб и поводил взглядом из угла в угол.

— Так ладно, я пойду,— прохрипел он. Лицо его набрякло, сделалось серым.

— Идите, Гарусов. Липцев заждался, поди. У него в отделении всего два связиста осталось. Липцев толковый связист, многому у него научитесь.

Шаркая ногами, Гарусов направился к выходу. Глядя ему в спину, Пятницкий все же не выдержал, посочувствовал далеко не молодому, не очень-то бодрому телом и духом солдату. На самом деле, какой из него связист. Сам мучиться будет и других измучает. Что за умник прислал его сюда! Санитаром в госпиталь, на склад армейский... Мало ли должностей для таких. И характерец у Гарусова, как видно, не хлеб с повидлом. Не успел котелка каши с ребятами съесть, а намутил, неразумный.

На улице взвизгнула собака, жалостно заскулила. Чуть погода вошел Шимбуев — взъерошенный, заикается. Так и прет из Алехи — ругнуться, да как тут при комбате ругнешься. Выдавил сквозь зубы:

— Вот паскуда, надо же, какая паскуда...

— Ты чего, с нарезки слетел? — чуя неладное, спросил Пятницкий.

— Этот бугай, новенький. Не в настроении от вас... Пнул собаку ни за что ни про что.

«К черту,— внутренне вскипел Пятницкий,— на кой мне ляд такой психованный. Пусть забирают обратно, хоть на кудыкину гору. Без него обойдусь».

Утром следующего дня, готовый к маршу на новый участок фронта, артиллерийский полк вытянулся колонной вдоль шоссе. Вернувшись из штаба дивизиона с нужными указаниями, Пятницкий присел на ребристую подножку машины Коломийца. Набегавшийся Комка притулился к голенищу сапога, дремал, не ведая, какую простую в общем-то и совсем не простую в частности решает задачу его новый и добрый хозяин. Русский он или немец — не собачьего ума дело. Брошенного, голодного, его обласкал этот человек, накормил, дал имя, которое чем-то связывает с незабытым прошлым. Это — главное, об остальном Комка не хотел и не умел думать. А Роман Пятницкий думал, хотя и не хотел думать. До щемящей тоски жалко оставлять собаку. Взять с собой? Куда? Как? Что потом?

Командир отделения тяги Коломиец высунул конопатую голову из кабины и, будто читая мысли комбата, сказал:

— Поскулит-поскулит и перестанет. Прибьется к кому-нибудь. Вон фрицевы бабы из бегов стали возвращаться...

Пятницкий молчал, понимая правильность сказанного. Но когда уже тронулись в путь, он долго не решался посмотреть на плывущую назад правую обочину. И не посмотрел бы, да Коломиец с ласковой горечью выдохнул:

— Не отстают, паршивец.

Роман сделал над собой усилие и повернул голову. Затеснило в груди. Комка, вывалив язык, шел большими скачками. Когда машина набирала скорость, он отставал, скрывался из виду, но стоило замешкаться колонне — снова нагонял, кося морду влево. Из кузовов что-то кричали ему, а он все пластал и пластал над жухлой прошлогодней травой свое поджарое тело.

Пятницкий готов был остановить машину, подобрать собаку, но откуда-то сзади, может, через машину, через две, протрещала длинная автоматная очередь. Комка запнулся об этот треск, ударился о землю, перевернулся с лета два раза и потерялся за кустарником.

— Останови! — вскричал Пятницкий и схватился за баранку. Машина вильнула, Коломиец с усилием выправил ее, оттолкнул руку Пятницкого.

— Комбат, образумься, мы же в колонне.

Пятницкий обмяк, обессиленно откинулся на спинку сиденья.

— Кто, кто посмел?

Коломиец рассерженно повторил за комбатом:

— Кто-кто... Кроме Гарусова — кто еще мог?

Пятницкий с Кольцовым шли следом за Шимбуевым, который уже побывал на КП батальона. Вспаханное с осени, не успевшее затравенеть поле парило под начинающим припекать солнцем. Ноги скользили на отталости, как на арбузных корках, кожа зудела от пота. Пятницкий оглянулся на приотставших связистов. Согнувшись под тяжестью рации, размеренно шел командир отделения связи Липцев, улыбаясь, мурлыкал что-то Женя Савушкин, следом пыхтел Гарусов. За его спиной, распуская кабель, поскрипывала в станке катушка.

Шли наизволок. За бесконечно вытянувшимся по горизонту гребнем возвышенности погромыхивал самый передний край войны. Потом уже начнется — Роман знал это — спуск к морю: на вновь подклеенном листе карты краешек был голубым. Нет-нет да посвистывали малосильные на излете пули, в стороне лопнули две сдуру залетевшие мины. Пятницкий крикнул, чтобы не сгучивались, и ускорил шаг, даже пробежал немного. Он бы и дальше бежал, но остановил раздавшийся позади заполошный вскрик. Оглянулся. Гарусов, трясаясь, постанывая, скидывал станок с кабелем. Швырнул в грязь, сел на него и обхватил руками толстую голень. Лицо солдата лоснилось от пота. Охая и стеная, Гарусов покачивался и смотрел на пропитывающую материю кровь. Она красила пальцы заволосатевших с тыл рук. Пачкаясь в липком, сержант Кольцов распорол штанину и сердито успокоил:

— Да не стони ты. В мякоть же. И неглубоко засела.

Гарусова перевязали. Пятницкий подозвал Шимбуева, распорядился:

— Проводи до медпункта, мы тут сами доберемся.

Гарусов поспешно оборонился:

— Не надо, я дойду. Я знаю куда.

Чего это он шарахнулся от Шимбуева? За автоматную очередь по собаке побаивается?

Непредвиденная задержка заставила спешить. Неподалеку от пехотного КП Шимбуев проговорил, ни к кому не обращаясь:

— Войне вот-вот конец... Прокантуется в госпитале, потом будет ходить пузой вперед: мы паха-али!..

Пятницкий в раздумье посмотрел на него и примиряюще сказал:

— Не надо так, Алеха. Он шел в бой. Ранен не в пьяной драке — пулей фашистской.

Преданный ординарец презрительно фыркнул и зашагал вперед комбата.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

В начале марта Хайльсбергская группировка немцев была окончательно отрезана от центральной Германии и от Кенигсберга. Сотня метров за сотней, фольварк за фольварком — мешок этот суживался, сдавливался, уменьшался в объеме и в двадцатых числах, прижатый к береговой кромке, продырявленный во многих местах, лопнул. То, что было теперь перед наблюдательным пунктом Пятницкого, не походило на передний край. Это был узкий участок побережья, раскисший от разлива ручьев и речушек, тесно забитый войсками противника. Плотный артиллерийский огонь, дерзкие штурмовки «ильюшиных» даже в мерзкую погоду вышибли у немцев всякую надежду баржами да баркасами перебраться на косу Фрише-Нерунг, которая шестидесятикилометровой естественной дамбой отделяла залив от моря, и противник вынужден был прекратить сопротивление.

Происходящее здесь не было похоже на виденное пушкарями Пятницкого в предыдущих боях. Теперь не россыпь и горстки, а тысячные толпы пленных кучились, сбивались в колонны и направлялись на сборные пункты.

Пятницкий возвращался на НП с огневой позиции, смотрел на неиссякающий поток изможденных, заросших щетиной людей с ранцами из телячьих шкур, с притороченными к ним одеялами и котелками, с рубчатыми цилиндрами противогазных коробок, приспособленных для хранения харчишек. Колонна двигалась с вязким шарканьем сукна и кожи, сырым хлюпаньем грязи, кашлем и болезненным сопением. От нее исходил запах окопной человеческой неухоженности. Шли с погасшими, обращенными в себя взглядами, и глаза пленных казались бессмысленными, пустыми до потери цвета.

О чем думали? Что заботило? Каким виделось завтра?

Поговорить бы с которым, проникнуть в душу, увидеть, что там?

Пятницкий вспомнил свой визит к цивильным немцам, свою позорную попытку говорить на их языке. Комбат, герр офицер... Молчал бы в тряпочку...

Правда, было с кем поговорить — знали русский язык, всосали с молоком матери. Брели в общих колоннах, в такой же травянисто-тусклой немецкой форме, и не отличишь сразу, не подумаешь, что мужик из тернопольских, винницких или еще каких российских краев. Отличать помогали сами немцы.

Увидев советского офицера чином повыше, они со злорадной брезгливостью выталкивали их из строя и заискивающе кричали: «Руссиш ферратер!»

Но с этими Пятницкому говорить не хотелось. Много виноватых в том, что земная кора пропитана человеческой кровью до самой мантии, эти виноваты вчетверо.

Обособленно, заложив руки за спину, в расстегнутом до белья офицерском мундире, навстречу Пятницкому шел обочиной рослый, с вызывающе поднятой головой немец. Шел прямо, всем видом показывая, что не собирается и шага ступить в сторону. Кровь ожогом застопорилась в жилах Романа, каменно свела мышцы. Ударились плечом о плечо. Роман колыхнулся, устоял. Немец не изменил позы, не оглянулся, не сбился с шага. Пятницкий в бешеной злобе крутнулся следом, рука машинально рванулась к кобуре, цапнула застёжку и замерла.

Широкий заносчивый затылок, мускулистая распрямленная спина, сцепленные холёные руки на поясице, а ниже — набухшие кровью лоскутья брюк, обнаженное, залитое кровью бедро, рванина человеческого тела...

— Сволочь,— процедил Роман сквозь зубы, перепрыгнул канаву и, спрямляя путь, пошагал вдоль протянутой на шестах линии связи. Гневная дрожь утихала долго и неохотно.

Днем в затишке даже пригревало, впору шинель сникать, но выйди на открытое место — так дунет с моря, что шапку на уши натягивай. Наблюдательный пункт на то и наблюдательный, чтобы видно с него было, место подобрали не на юру, какой ни на есть — кустарничек по бокам, но все равно продирало до костного мозга. Да и не день еще. Утро только-только зарождалось.

Женю Савушкина, ходившего на линию чинить кабель, промочило до нитки, пробрало ветром, и теперь он сидел на дне ровика, ломал хворостинки, жег костерок, грел руки и шмыгал сырым носом.

Чтобы сдружиться на войне, хорошим людям и одного боя достаточно, а Женя Савушкин и Петр Иванович Мамонов воевали вместе целых восемь дней. Взаимную и добрую человеческую привязанность Пятницкий заметил сразу и по силе возможности старался не разлучать товарищей. Вчера на глазах у Жени ранило Петра Ивановича. Когда разрезали сапог и Женя увидел, что осталось от ступни, закричал в голос.

Провожая Мамонова, знали: теперь-то уж будет дома, дождется его славная женщина по имени Маруся, одарившая деревню бесценными иголками. Каждый, кто был поблизости, что-нибудь да сунул в мешок Мамонова: кто пару белья, кто мало стиранное полотенце, кто совсем новую гимнастерку, припасенную на лучшие времена. Женя горевал вдвойне: нечего

было подарить Петру Ивановичу, разнесло Женин вещмешок тем же снарядам.

Пятницкий отвел Женю в сторону, достал из полевой сумки книжку невеликую в обтрепанной и тонкой обложке — на ней солдат Василий Теркин скручивает сигарку, спросил Женю:

— Помнишь, тогда вслух читали? Понравилась? Хотел сразу подарить тебе, возьми сейчас и подари Петру Ивановичу. Белье — вещь, конечно, ценная, но изнашивается, а книжка долгой памятью о тебе будет. Напиши на ней что-нибудь.

Самую малость, но все же легче на душе стало. Вздохнул Женя:

— Как он теперь без ноги-то?

...Увез Мамонов память о Жене, а вот Роману Пятницкому так ничего и не останется на память о Жене, кроме самой памяти...

Случится все это буквально через несколько дней. Седьмая батарея едва-едва успеет переместить две пушки к дороге, вымощенной от замка к форту, как немцы вновь навалятся танками и самоходными орудиями, пытаясь пробить путь для пехоты, рвущейся на помощь осажденному гарнизону форта. Контуженый, ослепленный Васин, единственно живой из расчета, ощупывая поворотный механизм, прицел, панораму и яростно ругаясь, еще будет пытаться незрячим вести огонь. Женя Савушкин отшвырнет телефонный аппарат (связи так и так нет, кабель давно в лапшу искрошен), бросится к прицелу орудия.

— Васин, подскажи, я буду!

— Женька?! — встрепетается обрадованный Васин. — Нет ли воды у тебя? Глаза вот... Хоть малость увидеть...

— Нету, Васин. Водки немного, — беспричинно повинится Савушкин. И это порадует сержанта. Он ухватит флягу и, жадно промочив горло, взбодрив себя, выльет остатки на давно не стираный платок, протрет синюшные наплывы на лице и с болью, с зубовным скрежетом разлепит веки. Но увидит Васин лишь смутную, расплывчатую тень Жени Савушкина, контуры пушки да путаницу прореженного осколками кустарника. Глазами Васина станет связист Женя Савушкин.

— Васин! Слева от рожи танки прут! — закричит наблюдавший за немцами Савушкин.

— Не вижу. Женька, в бога, в Христа... Становись к панораме!

Матерясь от боли, слепоты, беспомощности, Васин все же доползет до разрушенных снарядных ниш, ухватит за петлю ящик, потянет к пушке. На ощупь отыщет казенник и, вцепившись в рукоятку затвора, опустит клин, дрожащими руками всунет снаряд в захламленное хайло патронника.

— Женька, уровень проверь! Может, сбило!

— Где он? Я только наводить умею.

Не заругается, только засопит Васин.

— На прицеле справа... Увидишь — пузырек плавает. Барабанчиком риску на ноль подкрути. Видишь?

— Вижу! Сделал!

— Танки где?

— Далеко, кажись, мимо идут.

— Метров сколько?

— Пятьсот, наверно, не меньше.

— Не стреляй, впустую будет. Подпусти малость.

Прижаренный солнцем, мокрый от пота и крови, Васин еще раз доберется до ящиков со снарядами. По пути наткнется на труп. Трогая в крови и грязи лицо мертвого, спросит:

— Женька, кто это?

— Вовкой звать. Из запасного который. Не знаю фамилии. Там вон, рядом, Ходжиков и Крутилев еще...

Обогнув мертвого, Васин нащупает ящик с бронебойными, задыхаясь, обессиливая, подтащит к станинам орудия. Слева загремят выстрелы полковушек. Напоровшись на их огонь, немецкие танки рассредоточатся, отойдут друг от друга, а головной резко повернет к позиции Васина.

— Один сюда наладился! — что есть силы гаркнет Савушкин.

— Не спеши, Женька. В гусеницы или в башню. В лоб — без толку...

Васин не успеет договорить, орудие оглушающе грохнет, и Васина едва не пришибет отпрянувшим казенником.

— Ты что, дурак, говорю же — ближе!

— Он воронку обходил, бок подставил!

— Ну?

— Дымит, гад! — не скроет Женька мальчишеского восторга.

— Еще одним садани! Заряжаю!

— Не надо, Васин, немчуря выскакивает, по ним пехота садит!

Обо всех этих подробностях Роман Пятницкий узнает, когда, тяжело раненный, окажется на койке в медсанбате, рядом с младшим сержантом Васиным. Расскажет Васин и о том, как Женька подобьет еще один танк и как «пантера» напрочь искорежит их пушку и насмерть изувечит Савушкина.

Но все это будет потом, несколько дней спустя...

Простыл Женька Савушкин, а Пятницкому казалось — всхлипывает. Что еще ему сказать, чем успокоить?

За восемь дней безотдыхных боев, что минули после переформировки в Цифлюсе, полк подполковника Варламова снова поредел, ощутимо пострадал и третий дивизион. Огонь немецких береговых батарей, развернутых для

стрельбы по суше, внезапно накрыл штаб дивизиона. Погиб командир восьмой батареи Павел Еловских, тяжело ранило начальника штаба и командира дивизиона капитана Сальникова. Начальник штаба еще ничего, выживет, а вот комдива, пожалуй, поднять врачам не удастся.

О далеких и недоступных ему командирах горевалось Жене совсем не так, как о Петре Ивановиче, будто отца или еще кого-то близкого потерял Женя.

Поглядывая на старшего лейтенанта Зернова, сидевшего за стереотрубой, которого вчера толком не успел разглядеть, Пятницкий переговаривался с Женей Савушкиным. Одни сучки, толщиной с карандаш, собранные окрест, лежали кучкой у ног Жени, другие он доставал из-за пазухи. Роман любовался игрушечной теплинкой, пока не обратил внимание, что сушняк, который у Жени за оттопыренной пазухой, горит жарче и ярче, чем тот, что лежит на дне окопа. Встревоженный, окликнул Савушкина:

— Женька, подойди-ка сюда.

Савушкин поднялся, настороженно посмотрел на Пятницкого, забежал глазами. Пятницкий отвернул у него полу расстегнутой до ремня шинели и с трудом сдержался, чтобы не накричать.

— Дубина стоеросовая, ты каким местом думаешь? Мало тебе того урока?

— Дак, я помаленьку...

Черт с ним, когда помаленьку — сплошь и рядом использовали на растопку порох немецких оружейных зарядов, но ведь Женька этими полуметровыми макаронинами набит, как рыба икрой перед нерестом. Попадет искра — и живой факел.

Старший лейтенант Зернов оторвался от стереотрубы, спросил, что случилось.

— Недавно один обормот едва не насмерть, — пояснил Пятницкий. — Вырыл ячейку, как для телеграфного столба, две гильзы с порохом туда, сам залез, огонь развел. Извержение вулкана устроил, даже немцы всполошились. Едва загасили дурака.

Зернов укоризненно посмотрел на Савушкина. Посчитал несвоевременным как-то иначе обозначить свое вступление в должность.

Прибывший из далекого тылового госпиталя старший лейтенант Зернов принял взвод от сержанта Кольцова, сегодня с рассветом спешил познакомиться с передним краем противника, если то, что он разглядывал в стереотрубу, можно было назвать передним краем. Сидел Зернов без шапки, и ветер шевелил на его голове, как ковыльный султан, непослушно отделившийся от густых темных волос, ненормально седой вихор.

Оглянувшись на Пятницкого, старший лейтенант сказал про свое наблюдение:

— Ничегошеньки не видно. Туман чертов.

Конечно, хотелось бы видеть, но это желание, пожалуй, в большей мере было рождено любопытством, чем необходимостью, вытекающей из сложившейся обстановки. Главные события теперь там, на правом фланге, где, скованная со всех сторон, продолжала ожесточенное сопротивление группировка гитлеровских войск, зажатая непосредственно в Кенигсберге.

Ветер гнал' облачные космы по-над землей, трепал, обчесывал их о гнутые, косорукие сосны, и видимость понизу немного очистил. Справиться с тем, что было повыше, ветер был слабоват. Тяжелые, упившиеся влагой брюхато-провислые и угрюмо-аспидные тучи почти не двигались, упрямо заслоняли солнце от прозябших солдат в волглых шинелях. Старший лейтенант Зернов маялся душой, боялся встретиться взглядом с Романом Пятницким. Ума не приложит, что делать. Воевать так воевать, а то...

— Старший лейтенант, ты давно на фронте? — спросил его Пятницкий.

Зернов настороженно посмотрел на комбата, подумал: «Глядит и гадает, наверное, что я за тип. Взвод принял — и ни пальцем о палец...» Ответил:

— На фронт я, комбат, попал в сорок втором, а воевал в общей сложности полтора месяца.

— Ранения? — понимая, спросил Пятницкий.

— Да, и все тяжелые. Третье — в августе прошлого года.— Зернов усмехнулся: — Схлестнулся с «Великой Германией». Что спросил-то? Не приглянулся?

— С чего взял? — строго сказал Роман.— Мнительный какой! Переживаешь, что руки сунуть некуда? Успеешь, наработаешься. Вот повернем на Кенигсберг, не то еще будет... Стоп...— вдруг остановил себя Пятницкий. Только теперь сознание зацепилось за смысл сказанного Зерновым о «Великой Германии». Что-то памятное было в этом помпезном названии немецкой танковой дивизии, слышанном совсем недавно и совсем от другого человека.

Недоуменно поворошив память, Пятницкий спросил:

— Где ты, говоришь, схлестнулся с «Великой Германией»?

— Под Вилкавишками, у самой границы.

Пятницкий уставил взгляд на Зернова и произнес с расстановкой:

— Тридцать семь снарядов... Валька, последний взводный... Двести человек...

— Ты что? О чем ты? — в замешательстве смотрел Зернов на Пятницкого.

— Тебя Валентином звать?

В предчувствии чего-то невероятного Зернов едва слышно ответил:

— Валентин Николаевич.

— По отчеству не слышал.— Пятницкий тяжело опустился на станок с катушкой телефонного кабеля.— Значит, Валька Зернов... Что тебе о Павле Еловских известно?

— О Павле? Ничего. То есть комбат мой. А ты? Ты знаешь его? Где он?

Пятницкий молчал, смотрел на противоестественно седой клок волос, разделявший надвое слегка вьющуюся шевелюру Зернова.

— Надо же,— покачал головой.— Чуб твой под Вилкавишками побелило?

— Нет. Это у меня с детства,— ответил растерянный, ошеломленный Зернов и выкрикнул: — Что ты мне о чубе! Ты о Павле! О Павле скажи!

Пятницкий будто не приметил этой вспышки, сказал с горечью:

— Он ведь тебя убитым считал, Валентин... Так и не узнал, что ты живой...

Долго никто из них не решался нарушить молчание. Наконец Зернов выдал:

— Убит Паша? Когда? Расскажи, что знаешь?

— Еловских в наш полк после прорыва пришел. Как и ты, из госпиталя. Комбатом-восемь. Три дня назад в бою за фольварки...

Роман рассказал о Еловских все, что знал. А что он знал? Много ли знал?

— Гора с горой не сходится...— угрюмо проговорил Зернов.— Не-е-ет, человеку с человеком тоже сойтись не пришлось.

Зернов встал, походил от изгиба до изгиба окопа, снова сел на футляр стереотрубы, заново обтянутый обрезками плащ-палатки разведчиками Кольцова восемь дней назад в Цифлюсе. Втянув губу, прильнул к окулярам.

Подкручивая маховичок горизонтали, он ощупывал многократно усиленным зрением то, что не мог увидеть час назад.

Серые, редкие клочья тумана бродили по огромной свалке машин, пушек, бронетранспортеров и иному военному добру, беспорядочно разбросанному по склону до самой воды и ставшему хламом. С выверенным постоянством, поднимая пенные гребни, волны пошевеливали неуклюжие плоскодонные баркасы, прибитые к береговому песчанику, баюкали возле уреза тела мертвых.

Зернов оторвался от прибора, потер ладонями лицо, сказал куда-то вниз, в землю, о том, что не оставляло его и не могло сейчас оставить:

— Меня убитым считал... Нас подобрали. Двоих. Актюшин без ног, а я — вот он... Нет, значит, Павла...— Зернов поднял взгляд.— Ты знаешь, комбат, о его семье? В Киеве, всех. Исчез на земле род Еловских. Павел был последним...

Зернов болезненно улыбнулся шмыгающему носом Жене Савушкину. Сучки, которые собрал Женя, были сырыми и грели плохо. Зернов, видно, заметил никудашное настроение парня, потрепал его по шапке, спросил:

— Солдат, почему у тебя ноги разные?

Женя с сомнением посмотрел на свои ухлюстанные сапоги.

— Чего это вы, скажете тоже...

— А как же, смотри: одна нога правая, другая — левая.

Лучше костерка согрело Женю шутливое слово, оскалил удивительно белые зубы.

Зернов, освобождаясь от гнетущих дум, выскочил на бруствер и, утопая в песке, взобрался на соседнюю дюну, поросшую местами цепким стелющимся кустарником. Спросил оттуда:

— Комбат, долго нам еще сидеть у самого синего моря? Что ты там про Кенигсберг помянул?

Пятницкий поднялся к Зернову. Сказал, не отвечая на вопрос:

— Тяжело было Павлу... Ты-то как тогда? Друзья ведь...

Зернов умоляюще попросил:

— Не надо об этом, комбат. Мало ли что в те проклятые минуты... Всякое думалось. Павел исполнял свой долг, я — свой. Что могли — сделали... Искал его. Написал в часть — сообщили, что ранен. Разыскал госпиталь — сообщили, что выбыл.

Только теперь Пятницкий ответил на вопрос Зернова:

— В дивизионе никто ничего толком не знает, но думаю, что скоро снимут нас с этого участка — и на Кенигсберг.

— Долго с ним чикаются. В январе еще подошли... А смогут немцы, как мы, например, в Сталинграде?

— Поживем — увидим,— ответил Пятницкий и подумал, что не исключается другой вариант: не в Кенигсберг, а в Берлин перебросят. Вот уж где народу поляжет... За каждый паскудный фольварк зубами держатся, а уж за столицу рейха...

Мысли Зернова шли в том же направлении. Спросил Пятницкого:

— Комбат, а если на Берлин?

— Куда пошлют. Мне все равно.

— Не скажи. Человек честолюбив и на смертном одре,— невесело улыбнулся Зернов.— Если умирать, то в Берлине все же... солиднее, что ли.

— Солиднее, Валентин, вообще не умирать,— ответил Пятницкий и ткнул рукой в направлении песчаных куртин, где ложбинками пробирались двое.— Наши, похоже. Коркин с Васиным, кому больше. С Коркиным не знаком еще?

— С Коркиным перекинулись парой слов. Он вчера вторую звездочку на погоны нацепил. Ты-то, комбат, почему в лейтенантах засиделся?

— Ну, это не от меня... Точно, они самые,— перестал сомневаться Пятницкий.— Понятно. На море посмотреть захотелось, может, и трофеем каким поживиться. Вон у Васина рожа какая крученная, он и подбил Коркина, не иначе.

Подошедший Коркин поспешил упредить неизбежное:

— Не в оправдание, комбат. Понимаешь, извелся весь. Вот и решили с Васиным навестить вас. Пушки вычищены, как на парад, гильзы собраны...

— Разрешения не мог спросить? По телефону хотя бы, Коркин? — прервал его Пятницкий.— Как в артели какой-то. Старшина не вернулся?

— Нет еще. Ему Греков приказал машину присмотреть, какая поновее,— Коркин засмеялся.— Как же, Юра Греков — исполняющий обязанности командира дивизиона, ему теперь без персонального «мерседес-бенца» никак нельзя.

— Я же Тимофею Григорьевичу наказал коней и повозку! — возмутился Пятницкий.— Когда ему машиной заниматься!

— Так он и кинется за машиной, держи карман шире,— успокоил Коркин.— Горохова не знаешь, что ли? Да вон он, легок на помине. Не дядька Тимофей — витязь.

В россыпи редкого, гнutoго-перегнутого ветрами сосняка, что тянулся вдоль гребня прибрежной возвышенности, показался всадник. Вид у него был далеко не богатырский, но конь под ним... Буланный жеребец, тугой под шкурой, в белых чулках на тонких беспокойных ногах, гордо нес грациозно вскинутую голову, покусывал удила и, заламывая мускулистую лебединую шею, казалось, с презрением взглядывал на седока.

— Где это ты разжился, Тимофей Григорьевич? — восхитился Коркин.

Старшина с трудом высвободил ступню, засунутую в стремя, как он сам говаривает, по самое некуда, неловко сполз брюхом с седла, тогда уж, поддержанный Коркиным, извлек из стремени вторую ногу. Махнул рукой в сторону моря:

— Там.

Васин, восторженно смотревший на коня, схватился за повод.

— Какая красивая... Бежевая, да? Дай прокатиться, дядька Тимофей!

Расстроенный Тимофей Григорьевич выдернул чембур из рук Васина, передразнил:

— Кра-си-ва-я... Жеребец это, дурак ты бежевый! Пошел вон, мамкин сын!

Захлестнув чембур за пучок веток, Горохов стал возмущенно говорить Пятницкому:

— Что это творится, Роман Владимирович? Разве это люди? Кто их на свет произвел, чью они титьку сосали? Как их назвать? Ладно, когда людей, если война придумана... Лошадей-то за какие грехи? Пропасть сколько! Весь овраг доверху. Друг на друге, друг на друге... Сгоняли табуны и били, били из пулеметов. Может, посмотрите?

— На людей насмотрелся,— сквозь зубы ответил Пятницкий.— Этого еще не хватало... Рысака-то куда? На парад, что ли?

— Попробую в упряжке, не годится — в хозвзвод отдам... В кустах стоял, взял повод — затрясся, шкура ходуном заходила. Даже лошади умом тронулись от всего этого...

Пятницкий запустил пятерню в черную щетинно-жесткую гриву коня, ласково поскреб. Конь мотнул мордой, приподнял, покачал переднее копыто, напомнил Роману Упора. Такой же холеный и сытый. Только Упор вороной. Пятницкий сунул стремя под мышку, примерил на вытянутую руку, озорно подмигнул Васину — сойдет! — и взял у Горохова повод.

Не кавалерист Тимофей Григорьевич, хотя и при конях в колхозе — на телеге больше. Но все же. А комбат-то куда? Городской ведь, ему ли верхом! Тимофей Григорьевич, снисходительно прощая, покачал головой. Пятницкий вставил носок в стремя, легко и ловко взлетел в седло, пригнетился. Конь строптиво и сбивчиво покопытил землю, но, почувствовав уверенный и требовательный нажим шенкелей, успокоился и сторожко ждал следующей команды. Она пришла с болью врезавшихся удил. Жеребец вскинулся передней частью, высоко поиграл чулками.

Пятницкий посмотрел на восхищенных товарищей и внутренне смутился театральности сделанного, прикрыл смущение шуткой:

— Представление окончено, можно разойтись!

Спрыгнул с коня. Подавая повод Тимофею Григорьевичу, предостерег:

— Держите жеребца подальше от начальственных глаз — враз замахорят.

Женя Савушкин, влюбленно смотревший на комбата из окопчика, крикнул:

— Товарищ лейтенант, вас!

К телефону Пятницкого вызывал Греков.

— Пятницкий, какого черта копаешься? Срочно в штаб полка!

— Ты чего как цербер? В силу новой должности, что ли?

— Подь ты...— разгневался Греков.— Понял, что я сказал?

— Зачем хоть вызывают?

— Придешь — узнаешь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Первым, кого увидел Пятницкий возле штаба полка, был командир девятой гаубичной батареи капитан Костяев. Он сидел на дышле бесколесной брички в распахнутой шинели и, забросив ногу на ногу, писал на тетрадном листке, пристроенном поверх целлулоида планшетки.

— Садись,— сдвигаясь выше по оглобле, Костяев переложил карандаш в левую руку, поздоровался.— Чего запыхался? Гнались за тобой?

— Греков подхлестнул,— усаживаясь, ответил Пятницкий.— Что за экстренные сборы?

Понимая, что больше не напишет ни строчки, Костяев сунул писанину в планшет и с треском придавил кнопки-застежки.

— Кто-то решил, что воевать не умеем. Учения якобы, в войну играть будем.

— Если будем драться на улицах Кенигсберга, Хасан, какие тут игрушки,— возразил Пятницкий.— Кенигсберг — не Гумбиннен, не Прейсиш-Эйлау. Столица прусской военщины, крепость. Не грех и поучиться кое-чему... Уже сказали об учениях?

— Кто скажет? Варламов наш? Черта лысого он скажет, как всегда, будет тянуть до последнего,— Костяев поморщился, сплюнул в сторону.— Изжога замучила, соды бы... Он и взводным-то в сюрпризы играл, а сейчас и подавно. Слышал, что полковника ему присвоили? Замараеву и Торопову — подполковников.

— Откуда мне знать, сижу у моря, жду погоды.— Пятницкий простодушно улыбнулся.— Можешь передать начальству мои сердечные поздравления... Но откуда об учениях известно?

— Седунин, адъютант Варламова, по секрету всему свету. У него, поди, моча-то не держится, а тут... Сегодня Седунин вообще не от мира сего. Вежливый, учтивый, только что шарниры не скрипят в пояснице. Одну новость, правда, зажал. Взянул о должностных перемещениях — и захлопнулся. Из приказа, говорит, узнаете... Вон товарищ Греков топает, может, он что знает.

Подошел начальник разведки дивизиона Греков, замещавший комдива. Считая, что телефонный разговор — это почти что виделись, не поздоровался, воскликнул с наигранной веселостью:

— Сидите, боги войны? По машинам пора.

— Не так туманно можешь? — сердито спросил Костяев.— Все же командир дивизиона сейчас, должен быть осведомлен.

— Нашел командира! Калиф на час. Мотаюсь, как соленый заяц. Ни зама, ни начальника штаба.

— Значит, о перемещениях ничего не знаешь?

— Абсолютно,— заверил Греков и показал покрасневшими от хлопот и усталости глазами на штабной домик, где подсобралось порядочно народу, стояли две бортовые машины, «додж». — Побегу, не задерживайтесь.

— Может, Грекова оставят на дивизионе? — посмотрел ему вслед Пятницкий.

— Вряд ли. Вот Павла Еловских бы.

— Павла — это верно,— подтвердил Пятницкий и почувствовал неловкость от сказанной неправды. Вспомнился застольный разговор в Цифлюсе, и Пятницкий убежденно подумал: «Нет, не мог бы Еловских командовать дивизионом», но обрядовая, освященная обычаем превосходная степень, употребляемая в разговорах об убитых хороших людях, взяла верх. Пятницкий не очень твердо, но повторил: — Павла — это верно.

Костяев кивнул в сторону группы офицеров.

— Гляди, Гриша Варламов зубы скалит. Значит, на сегодня страшного для нас нет, а сюрпризы будут.

Варламов в новой бекеше с полковничьими погонами, с огромным планшетом, какие можно увидеть только у летчиков, стоял в окружении штабных офицеров и от всей души смеялся над чем-то сказанным сдержанно улыбающимся начальником штаба Тороповым. Увидев приближающегося Костяева, Варламов, покинув свою веселую свиту, пошел навстречу.

— Здравствуй, Хасан. Что ты желтый такой? — озабоченно спросил Варламов и подал руку. — Ты не шути с этим. Отправлялся бы в госпиталь.

— Хватит об этом, Григорий Петрович,— нахмурился Костяев. — Придет время — лягу.

«Он и взводным-то в сюрпризы играл,— вспомнил Пятницкий слова Костяева и подумал: — Значит, вон еще когда свела их судьба!»

Варламов подал руку и Пятницкому. Задержал на нем острый, глубоко проникающий взгляд и снова обернулся к Костяеву.

— На твой отказ о назначении командиром дивизиона, Хасан, я мог бы положить с прибором. Подсунул бы генералу на подпись — и все. Только вот начштаба мой с его убийственной логикой... Жалеет тебя. Заом к новому командиру дивизиона все же пойдешь, тут, Хасан... — Варламов свирепо свел брови. — Укомплектовали, называется... Одиннадцать офицеров на весь полк из резерва прислали. Где мне кадры брать? Рожать прикажешь? — снова посмотрел на Пятницкого. С хитрецей сверкнул зубами, спросил: — Пятницкий, твоя точка зрения: годится Костяев в заместители командиру дивизиона?

Пятницкий смущенно вздернул плечи, но ответил с твердой убежденностью:

— Какие могут быть сомнения, товарищ полковник.

— Слышал, Хасан? Раз Пятницкий одобряет — так тому и быть,— Варламов хохотнул и поспешил к «доджу», где уже ждала его штабная свита. Костяев с Пятницким направились к «студебеккеру», возле которого стоял Греков и, дико тараща глаза, торопил их рукой. До того, как взобраться в кузов, Костяев успел сказать:

— Вот и начались сюрпризы.

Километров через пятнадцать, миновав развалины какого-то фольварка, хранящего терпкий запах гари и перекаленного кирпича, машины остановились. Дальше офицеры во главе с полковником Варламовым продвигались бездорожьем, в полосе недавних боев — среди сокрушенного, развороченного, раздавленного, взорванного и расшматованного военного и невоенного имущества.

Костяев разжился у военврача «фунтиком» питьевой соды, боль в желудке притупилась, и он шел теперь бодрым. Не скрывая удивления, разглядывал последствия побоища. Не выдержал, подтолкнул Пятницкого:

— Как ты находишь сию картину? Будто после гигантского кораблекрушения море выбросило все это.

— Так оно и есть,— согласился Пятницкий.— Фашизм идет ко дну, и чтоб ему ни дна ни покрышки.

— Ко дну-то ко дну, только не хочет, сволочь, тонуть в одиночку.

Среди трупов, сметенных весенним половодьем в кюветы, рытвины, воронки, приваленных замусоренным илом и морской травой, вздутых и не найденных зимой похоронными командами, были трупы наших бойцов. Среди разбитых, горелых танков, покрытых охряными разводами коррозии и мертво разбросанных вдоль дороги, были и «тридцатьчетверки».

Артиллеристы выбрались на возвышенность, изрытую и перепаханную мощными снарядами и бомбами. Она обдута, успела обсохнуть и кое-где примолодилась остроперыми всходами зелени. Двадцатипятилетний полковник Варламов словно бы даже порадовался умученному виду своего «войска», хотя и сам — видно было — вымотался не меньше других. Он прошел к чему-то приземистому, серому, похожему на огромную кучу гравия. Над центральной горбиной этого навала вздыбленной путаницей торчала погнутая полудюймового сечения арматура с неотделимо присохшими к ней кусками бетона.

— Приходилось видеть такое? — спросил Варламов.

Кому не приходилось видеть доты! Но куда до этого тем, что встретились, скажем, на реке Алле!

— Вот такими сооружениями,— продолжал Варламов,— опоясан Кенигсберг, ими эшелонирована немецкая оборона в глубину.— Варламов расстегнул лётный планшет — большой и нелепый для его невеликой и сухой,

без грамма жира, фигуры, заглянул в написанное под целлулоидом.— Опорные пункты «Эйленбург», «Денхофф», «Кониц», «Король Фридрих»... Много, черт бы побрал. Эти укрепления под слоем земли заросли лесом, стены казематов трехметровые, на внешних обводах фортов — заполненные водой рвы шириной в двадцать и двадцать пять метров и глубиной — дна не достанешь. Гарнизоны от трехсот до пятисот человек, вооружены скорострельными орудиями, огнеметами, пулеметами крупных и мелких калибров. Перед всем этим минные поля, проволочные заграждения, эскарпы, надолбы,— полковник обвел рукой пространство от места, где стояли, до разрушенного фольварка, где просматривались оборонительные сооружения, возведенные нашими саперами. Показал это пространство и пояснил:—Это учебное поле предоставлено нам на три дня и три ночи. Задачи, которые сейчас поставит перед вами начальник штаба, воспринимайте в соответствии...— Варламов замолчал, обернулся к подполковнику Торопову: — Приказ, объявлен, Сергей Павлович? Нет? Что же вы,— с фальшивым упреком произнес полковник Варламов.— Надо объявить. Так что, товарищи офицеры, задачи на тактические учения воспринимайте в соответствии с тем, что сейчас услышите.

Так вот он, сюрприз полковника Варламова!

Приказ был тот самый — о перемещениях, о назначениях на новые должности, о присвоении очередных воинских званий. Было названо и имя Романа Пятницкого. Приказ перешагивал через ступень и присваивал Пятницкому звание капитана, кроме того, объявлял о его назначении командиром дивизиона вместо раненого капитана Сальникова. Но и это не все. В дивизион Пятницкого сводились гаубичные батареи всего полка. Седьмую приказано сдать капитану Седунину (вот чем объяснялось его необычное поведение!).

Вот это сюрприз так сюрприз. Такого никак не ожидал Пятницкий, жаром прихватило. Несколько успокоили, придали твердости следующие строки приказа: заместителем к нему назначен Хасан Костяев, только что произведенный в майоры. Еще бы начальника штаба дельного!

Будто читая его мысли, подполковник Торопов сказал:

— Вопрос о начальнике штаба в гаубичный дивизион капитана Пятницкого сегодня решится. Прислан кадровый офицер, дело знает шире дивизиона.

Детали учения утрясли с учетом того, что основу боевых порядков при прорыве первой позиции и в уличных боях будут составлять штурмовые отряды на базе рот и штурмовые группы на базе батальонов с приданными им артиллерией, танками, самоходными установками. Дивизион Пятницкого,

оснащенный наиболее мощными системами, придавался группе прорыва майора Мурашова.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

После такого крутого поворота в судьбе, от которого голова все еще не на месте, Пятницкий готов был к любым новым поворотам — не предугаданным, обязательно возникающим после внезапностей,— только не к такому. Правда, неожиданность эту назвать поворотом можно с натяжкой — дорога прежней осталась, но зато уж — всем неожиданностям неожиданность. Хлеще и не придумаешь.

В командирской палатке дивизиона за столом начальника штаба сидел Спартак Аркадьевич Богатырев — властно внушительный, вызывающий прежнее почтение и уважительность. Что бы ни знал про него Пятницкий, назвать поганкой язык не повернется. С первого взгляда все такой же Богатырев, неизменный, но со второго, третьего взгляда можно заметить — совсем не такой, каким знал. Осунулся подполковник, седины добавилось, да и не подполковник вовсе — с одним просветом погоны, капитанские. Вот кто, выходит, кадровый, вот кто знает дело шире дивизионных масштабов! Упоминалась же фамилия — капитан Богатырев. Богатырев и Богатырев, знакомая фамилия не проскользнула мимо ушей, шевельнула пригложшее, перегоревшее — и только. Но возьми вот, тот самый! Чудеса, аж дыбом волоса. Спаясничать: «Не кажется ли вам, что мы где-то когда-то встречались?»

При появлении Пятницкого Богатырев поднялся, сказал начальнику связи, который был тут же:

— Идите пока, потом закончим.

Ого, уже за дело принялся! Что ж, это хорошо. Только знал ли он, с кем дело-то делать придется? Судя по всему — знал: не удивился, будто ждал прихода Пятницкого.

Начальник связи вышел. Погруженные в молчание, остались стоять друг против друга два капитана.

Для Пятницкого эта встреча — внезапность полнейшая. А Богатырев, как уже понял Роман, был готов к ней. Само собой, до какого-то времени у Богатырева и мысли не было, что встретится с Пятницким, во всяком случае, до прихода в полк. Предвидь он это, постарался бы резко изменить служебный маршрут. Но узнал он только в дивизии, и пути для заднего хода у него не было. Ну, может, и был — в ту же полковую артиллерию. Богатырев отверг это — не тот путь. Не воспользовался, не позволило чувство собственного достоинства. Не скрестились бы дороги — тогда ладно, а уж если скрестились... Не мальчишка — в прятки играть. Волевой был человек Богатырев, а воля — это не только способность добиться, но и отказаться от чего-либо.

Не собирался Пятницкий паясничать — «где-то, когда-то», — не в его натуре. Смотрел на Богатырева, путался в толчее мыслей, не мог уловить нужную, значительную Молчит Богатырев? А что ты ждешь от него? Когда представится тебе, непосредственному командиру: такой-то прибыл в ваше распоряжение? Вроде бы неплохой выход. Армейский механизм, он такой — из любой ситуации вывезет. Пятки вместе, носки врозь, а чувствительные тонкости — сатане на забаву. Действуй по уставу, завоюешь честь и славу... Тьфу на тебя. Не станет Богатырев представляться, сам же примешь за издевку. И Богатырев понимает, не глупее тебя, знает, что так подумаешь. Славненькое дело, извольте радоваться...

Богатырев сличал Пятницкого с тем юным лейтенантом, следил за его душевным бореньем и ощущал удушливую тягость молчания. Форсировать события не спешил — пусть все же первое слово будет за Пятницким. Житейская мудрость подсказывала, что Пятницкий, тем более этот Пятницкий, не соблазнится возникшими обстоятельствами, не унижится до пошлого мщенья, милого сердцу солдафонов с положением. Не будет этого — остальное все уладится.

Роману Пятницкому молчание — тоже в тягость. В конце концов, он здесь хозяин или кто? Низко согнулся под скосом палатки, достал сунутый в угол раскладной, из крестовин, стульчик, поставил поудобнее, сел на его брезентовый верх. На опорном столбе высмотрел гвоздь для фуражки. Богатырев сесть воздержался. Пятницкий кивнул на его погоны, спросил:

— Что так?

Теперь Богатырев смотрел на Пятницкого сверху, смотрел внимательно, думал. Все логично. Ни по фамилии не назвал, ни по званию. «Что так?» — и все. Даже не спросил, почему и как здесь оказался. Может, Пятницкому все известно и нет надобности спрашивать?.. Почему же нет надобности? Он ведь спросил: «Что так?» Ответ на это, тогда ясно будет — почему и как ты здесь оказался. Но надо ли с этого начинать? Больно уж исповедью станет пахивать...

Смотрел, не отвечал Богатырев.

Возмужал парень, обдуло войной, обсушило. Раньше скуластость не так замечалась. Взгляд не ломается, твердый...

Что на дивизион поставили — не диво, проекция еще в учебном полку угадывалась. Кому-то такое — даль безбрежная, ему — совсем не даль. Даже та встряска не сбила с пути — на две ступеньки вверх за короткое время... У тебя тоже ступеньки, только в другую сторону, аж подковки сбренчали. Закономерно, Спартак Аркадьевич, закономерно... но как же ответить Пятницкому? Не исповедоваться же на самом деле. Но и молчать дальше в твоём положении совсем негодно...

На вопрос «Что так?» постарался ответить понятно и как можно короче:

— Развал. Подготовка запасников — из рук вон. Инспекция как снег на голову...

Не оправдывается, обид не высказывает, думает Пятницкий, уже хорошо. Все же не удержался, спросил жестко:

— Сенокос вам тоже припомнили?

Вот оно что!.. Не забываешь, меня виноватым видишь? А думал ли ты над тем, Пятницкий, что я не мог иначе? Может, себя надо было подставить, прикрыть тебя, взводного? Кому это нужно? Учебной дивизии? Для нее Пятницкий — дешевле и безболезненней. Это и наверху понимали.

Богатырев сухо вытолкнул фразу:

— За то мне выговор по партийной линии, а за это...— дернул плечом, обращая внимание на погон,— а за это — вот...

Выговор... Пятницкий сдавил зубы, посмотрел исподлобья. Вам выговор, а меня из комсомола поперли, военному трибуналу предали. Помню вашу речь зажигательную: «Пусть каждый извлечет урок». А в чем он, урок, так и не понял никто. Вы сами-то поняли, товарищ Богатырев? Почему не извлекли? Теперь вот сюда, мне в подчинение. Не терзает вас? Считали, что человек — пень придорожный, можно и скоблянуть походя тележной осью, ободрать до сердцевины? Может, и сейчас так считаете? Выкиньте мысли о подлой вседозволенности. Не позволю, Богатырев, ни одной душе не позволю! Опасно такое, можно и ось обломать. Вон, обломали вроде...

Возбужденный этими мыслями, Пятницкий потер рукой лоб, прислонился к опорному шесту палатки, глухо, с нажимом спросил:

— Слишком строго с вами? Так считаете? Я другого мнения, Спартак Аркадьевич. Если учесть кое-какие мерзости личного плана, то...

Не возразил, не возмутился Богатырев, промолчал, только чуть дернул носом да кровь ко лбу и вискам прихлынула.

Пятницкий пожевал губы, охладил назревающий гнев, твердо, ребром прижал ладонь к столешнице:

— Точка на этом, Спартак Аркадьевич! — Все же, взглядываясь в лицо Богатырева, спросил вызывающе: — Со мной будете работать или?.. Нет-нет, я не настаиваю, просто до конца хочу ясного. Так как?

Богатырев, чтобы не походить на вытянувшегося в строевой стойке солдата, все время искал отвлекающее занятие: переложил бумаги на столе, даже прошелся взад-вперед. При вопросе «Так как?» стал через голову снимать ремешок планшетки. Повесил на гвоздь — под фуражку Пятницкого, ответил замедленно:

— Переиначивать поздно. И не вижу особой надобности.

Смирясь, Пятницкий сказал:

— Мне тоже так кажется.

Пора бы о деле поговорить, времени в обрез, но встреча с Богатыревым воскресила из прошлого не только плохое.

...Прогретая под солнцем пыльная дорога по берегу Клязьмы... Упор, идущий в ровном и твердом галопе... Неухоженные избы деревни... Колодезный журавль... Прощание с Настенькой...

Вглядываясь в картины недавнего, занятый думами, долго молчал. Очнулся от неловкости затянувшейся паузы и непредвиденно для себя спросил:

— Упор-то жив? — Оттого, что Богатырев все еще стоит, не садится, неловкость усилилась. Раздражаясь на себя, резко сказал: — Да вы что стоите? Садитесь.

Богатырев сел, встретился с ожидающим сердитым взглядом Пятницкого, ответил спокойно, во всяком случае, внешне спокойно:

— В пехоту коней передали. Машины теперь.

О том, что живо.Послесловие Юрия Мешкова.

Наша литература уже имеет богатую традицию художественного освоения темы Великой Отечественной войны. И каждое произведение встречается и прочитывается с особым вниманием. Потому что тема эта неисчерпаема. Уверен: останется, что сказать и писателям будущего. Может быть, в чем-то они будут раскованней и даже объективно глубже тех, кто не отделяет события войны от событий своей жизни, от личной памяти, от обжигающих невыдуманными деталями конкретной судьбы, конкретного боя.

Книги писателей-фронтовиков о войне изначально достоверны как свидетельства очевидцев. Они написаны на материале, за которым названия реальных воинских частей, имена реальных героев, места, реально обозначенные на географической карте. Это чувство фактической достоверности, подлинности описанных событий остается по прочтении повестей свердловского писателя Анатолия Трофимова «Угловая палата» и «Лейтенант Пятницкий». В их основе — память писателя-фронтовика, прошедшего тот же путь, что и его герои.

Анатолий Иванович Трофимов родился 20 декабря 1924 года в многодетной крестьянской семье в селе Киселево Тюменской области. В раннем детстве переехал в Свердловск, после школы работал прокатчиком на Верх-Исетском металлургическом заводе. В августе 1942 года, когда ему шел только восемнадцатый год, был направлен в военное артиллерийское училище. Свой боевой путь начинал командиром взвода артразведки, потом командовал батареей. Был ранен, лечился в госпитале в Вильнюсе. Потом опять воевал на 3-ем Белорусском фронте, 1-м Украинском, участвовал в штурме Берлина, освобождении Чехословакии.

После войны Анатолий Трофимов много лет отдал журналистике: работал в армейских газетах, после увольнения в запас — редактором заводских многотиражек, заведующим отделом областной газеты «Уральский рабочий».

Его первые публикации в печати относятся к 1944 году. Сначала это были стихи, потом очерки. Многолетняя газетная работа стала школой для писателя. Он научился ценить факт, отталкиваться от него, видеть за фактом определенное явление. И первая изданная им небольшая книга была очерковой — рассказ о народных дружинниках «Визовские» (1960).

В этом движении автор увидел не только практическую форму участия рабочих в наведении общественного порядка. Оно оказывало воспитательное воздействие и на самих дружинников, выявляло их активную жизненную позицию, укрепляло чувство рабочей ответственности.

Писательский опыт А. Трофимова накапливался в работе над рассказами, вошедшими в его книги «Просто соседи» (1962), «Одному идти трудно» (1964), «День рождения» (1966)

В 60-е годы Анатолий Трофимов работал в областном управлении внутренних дел, руководил кабинетом передового опыта. И надолго тема солдат правопорядка, их тревожных буден, тема воспитания человека стала в его творчестве ведущей. Он написал ряд документальных очерков, в которых восстановил страницы истории свердловской милиции. На материале подлинных событий построены детективные рассказы и повести: «409 рубинов» (1971), «Пять вопросов и один» (1972), «Сто белых слонов» (в первом варианте — «Вхожу без стука») (1973), «Чертова дюжина» (1983). Трижды повести отмечались дипломами на конкурсах Союза писателей, МВД и КГБ СССР, он лауреат премии им. Н. И. Кузнецова.

А память о военной юности жила: героями очерков, рассказов и повестей А. Трофимова становились фронтовики.

Память разматывала ленту прожитого, когда приходили письма от однополчан. Она тревожила ночами, когда вдруг снились лица погибших товарищей.

«Памятные места Великой Отечественной... Можно забыть какие-то другие, но эти...» — так Анатолий Трофимов начал рассказ о поездке по местам военной юности «Встречи через тридцать лет» (Урал, 1977, № 5). Изменились места былых боев, совсем незнакомые люди населили их. Неуютно чувствовал писатель себя сначала, словно пришел из прошлого. Но вот его взгляду открылась излучина реки, вот примстился столетний дуб, вот отыскался подвал с обвалившимся сводом...

И уже слышатся голоса, уже ожили — нет, не в писательском воображении, а в памяти фронтовика — товарищи: ездовой Огиенко, связист Женя Савушкин, санинструктор Липатов, командир батареи капитан Будиловский... Не там ли, у этих памятных мест, уже писались страницы повести «Лейтенант Пятницкий»? Ведь названные в очерке реальные бойцы и командиры под своими подлинными именами вошли и в повесть. Тогда же, рассказывая о поездке и творческом замысле, Трофимов писал: «Она не будет документальной, эта повесть. Просто постараюсь рассказать о своих сверстниках, шагнувших со школьного крыльца прямо в войну,— о рядовых солдатах и о тех, кто в девятнадцать лет командовал взводами и батареями. Они не будут реально существовавшими Савушкиными, но я по возможности наделю их всем тем, что было хорошего и не совсем хорошего в моих друзьях, не щадивших жизни во имя Родины».

Так и появились сначала «Лейтенант Пятницкий» (1978), а пять лет спустя «Угловая палата».

Действие повестей Анатолия Трофимова («Угловая палата», «Лейтенант Пятницкий» — в такой последовательности их ставит хронология сюжетного содержания) происходит в Прибалтике и Восточной Пруссии летом и осенью 1944 и в начале 1945 года. Они разные по своему сюжетному материалу. В первой автор повествует о буднях военного госпиталя, о труде врачей и медсестер, о возвращении к жизни раненых. Действие разворачивается неторопливо, писатель старается быть внимательным к настроению, переживаниям своих героев, к деталям быта. Во второй повести Трофимов рассказывает о нескольких днях наступления, о жарких боях и потерях. Здесь действие развивается стремительно, повествование хроникально. Буквально десятки лиц — солдат и командиров, пехотинцев и артиллеристов — проходят перед нами, и мы не всегда успеваем взглянуться в них, запомнить, потому что стремительна сама смена ситуаций и событий в ходе сражений.

Но повести связаны между собой. И не столько хронологически и немного фабульно, сколько сквозной идеей. Она видится мне в утверждении необоримости жизни. Писатель воскрешает трагические обстоятельства: смерти, кровь, страдания людей. Но герои вспоминают мирное время, мечтают, как сложатся их судьбы после войны, влюбляются и радуются. И мы видим, как человеческое противостоит тому, что несет в себе война, оно побеждает в душах людей, возвышает их, наполняет жизнь высоким смыслом.

В каждой из повестей в основе сюжетного движения — судьба молодых людей. В водовороте событий, калейдоскопе встреч, неизбежных в условиях войны расставаний и потерь они — Маша Кузина и Роман Пятницкий — невольно оказываются центром притяжения. Конечно, как убеждает нас писатель, и в силу каких-то личностных качеств. Но, думается, и потому еще, что в самой их молодости — надежда жизни, та надежда, которая и помогла выстоять.

Медсестре Маше Кузиной из повести «Угловая палата» нет еще и восемнадцати, а она уже многое испытала, всего насмотрелась. Но не очерствела, не потеряла интереса к людям, не разуверилась в лучших чувствах и надеждах. Ее любят врачи и сестры, раненые, все, кто оказывается рядом с ней. Любят за доброту, открытое сердце, душевную теплоту, обаяние юности. И за какую-то необъяснимую, природой в ней заложенную способность сострадать. Вспомним, как она появилась в госпитале: крохотная, худенькая, в чем только душа держится. И терпеливо втолковывали девчужке, как трудно работать санитаркой: купать-умывать, подавать-убирать, кормить-поить раненых и контуженых. И вспомним ее ответ: «Что тут трудного?.. Такие же дети, только большие».

В суждениях Маши Кузиной, ее поступках, отношениях с ранеными, старшими и сверстниками, в ее девичьих тайнах, радостях и страхах писатель отмечает нечто исконно народное, корневое. «Все-все у Машеньки,— пишет Анатолий Трофимов, откровенно любуясь своей героиней,— было от плоти земли, от избы, в которой рождаются, живут и умирают: взгляды на жизнь, на отношения между людьми, на правду и неправду, добро и зло».

На первый взгляд действие «Угловой палаты» в основном локально. Но перед нами не история выздоровления, а судьбы людей. Раненые обитатели угловой палаты госпиталя постоянно размышляют, оценивают, переоценивают прожитое, вглядываются в будущее. В их судьбах, переживаниях — боль и надежда всей страны.

Поздно, к самой смерти мужа, младшего лейтенанта Василия Курочки, приезжает из глухой рязанской деревни его жена Арина Захаровна. Сам ее приезд еще больше укрепляет всех в борьбе за жизнь, в преодолении страданий, в желании вернуться в строй. Стены палаты как бы раздвигаются, раненые не оторваны от того, чем живет армия и тыл. И это тоже лечит. Лечит замкнутого, угрюмого командира батальона Петра Щаденко, утверждает в его мальчишеской правоте вчерашнего детдомовца, солдата Борю Басаргина, поднимает на ноги рассудительного начальника штаба артиллерийского полка Агафона Смыслова, помогает снова обрести веру в себя оставшемуся без руки художнику Владимиру Гончарову. И вылечит, поможет вернуться в строй Ивану Малыгину, изнуряющему себя суровым внутренним судом. Он один остался жив из разведгруппы, совершившей дерзкий рейд во вражеском тылу. Последним погиб его друг и земляк Вадим Пучков. Тяжело раненный, Малыгин в трагической ситуации, требовавшей терпения и выдержки, толкает Вадима на неосторожный шаг. На госпитальной койке, когда вернулось сознание, когда стала возвращаться жизнь, Малыгин мечтает лишь об одном: «Я еще поднимусь, я еще...»

Событийно «Угловая палата» заканчивается в преддверии нового наступления Советской Армии. В ней примут участие и многие герои повести. Но перенося действие на фронт, в окопы переднего края, Трофимов в «Лейтенанте Пятницком» знакомит нас с другими солдатами. Он рассказывает о том, как в Восточной Пруссии, на подступах к Кенигсбергу, они продолжают то же святое дело, что и в боях за освобождение родной земли.

Хроникальное начало в военных повестях Анатолия Трофимова придает динамизм повествованию, держит читателя в напряжении. Трофимов не дает развернутых портретных характеристик, не углубляется в биографии, не задерживается на описании внутреннего состояния. Его герои раскрывают себя через поступок, открываются читателю в действии. И этим остаются в нашей памяти.

Но пройденный каждым военный путь — это не только походы и бои. Он и по времени может быть разным: и все четыре года, и несколько дней, а то и часов до первого боя. Но в каждом миге своей война испытывала на нравственную стойкость, на чистоту помыслов, на подлинную человечность. И Трофимов рассказывает, как люди выдерживали это испытание.

«Повесть о лейтенанте Пятницком» оставляет светлое впечатление. Мы не можем не почувствовать открытой, искренней симпатии писателя к своим героям. И несправедливым будет возможный упрек в приукрашивании, идеализации. Трофимов пишет о том, что в судьбе его поколения стало самым значительным, определяющим. И таково уж свойство человеческой памяти, и индивидуальной, и всего народа, что в прожитом, особенно если оно дорого и свято, отбирается самое светлое, одухотворяющее, позволившее выстоять, сконцентрировавшее в себе лучшие качества тех, с кем был рядом. Да,

писатель романтизирует своих героев. Они у него молоды, порывисты, чисты в помыслах, храбры. Время, это увеличительное стекло памяти, укрупнило их черты, слило их облик с тем почти легендарным образом, каким извечно благодарные потомки представляют солдата-защитника. Но у Трофимова не дань традиции, а свое, на десятилетиях настоящее, терпкое и романтическое знание себя в обстановке тех лет и своих сверстников, павших и выживших. Это и дает ему право на романтизацию.

Вот как представляет писатель связиста Женю Савушкина: «Молоденький, до глянца умытый и жизнерадостный». Женя нежно привязан к своему командиру. Отправляясь с Пятницким и ординарцем командира батареи Степаном Торчмя в передовые окопы, к пехоте, чтобы непосредственно с поля боя корректировать огонь, он берет себе ту катушку с проводом, что потяжелее. В бою он искренне радуется, что у него все ладится, что успевает без напоминания сделать все, что положено. Когда под минометным обстрелом, в придорожной канаве, Пятницкий взглянул в его лицо, то «встретил такой радостный, озорной взгляд чистых голубых глазищ, такой блеск молодых зубов, обкусывающих липовую веточку, что растерялся даже. Он играл, забавлялся, этот пацан! Женька не тянул сейчас проклятый кабель, не тащил на себе ломающую ребра тяжесть катушек, не обдирал ладоней торчащими из паршивой изоляции стальными жилками, не вгонял их под ногти, не обмирал со страха за целостность аппарата...» В детской непосредственности Савушкина та бесшабашная молодость, когда беда не беда.

Двадцатилетний лейтенант Роман Пятницкий на батарею прибывает из штрафного батальона. Но нет в душе его озлобленности, нет смертной обиды и на того, по чьей вине оказался в штрафбате.

Юношескую чистоту помыслов, надежду на мирное будущее, в котором человек должен быть счастлив, выражает целомудренная любовь Пятницкого к Настеньке. Эта девушка для Романа и в штрафбате, и, после восстановления в звании, на батарее талисман и броня против озлобленности. Нет, в бою лейтенант крут и по-солдатски ожесточен, особенно в эпизоде, когда группка фашистов выкинула белый флаг, а потом предательски открыла огонь. Но и в этом бою он не забывает, что ведет его ради добра и жизни.

В повестях Анатолия Трофимова немало деталей, которые щемящей болью напоминают о суровой правде войны. Как бы со стороны рассказано о девушке-снайпере, она сама так и не появляется перед читателем. Но вот, говоря о ней, бывалый солдат Хомутов проговаривается: «Веселая такая, красивенькая, а людей убивает». Одна фраза, и сказанная вовсе не в осуждение.

Но, думается мне, не случайная.

Война шла и за красоту, красоту родной земли, людей и жизни. Победить можно было, лишь осознав, что каждый в ответе за эту красоту. Не кто-то посторонний, по должностной обязанности, по воинской присяге, а именно каждый, по внутреннему порыву, защищал ее. «Давайте, люди, никогда об этом не забудем»,— призывал поэт. Этот призыв и слышится в военных повестях Анатолия Трофимова. И обращен он не только к тем, кто прошел

фронтовыми дорогами, но и к тем, для кого такой дорогой ценой был завоеван мир. Обращен он к каждому из нас.

ЮРИЙ МЕШКОВ